

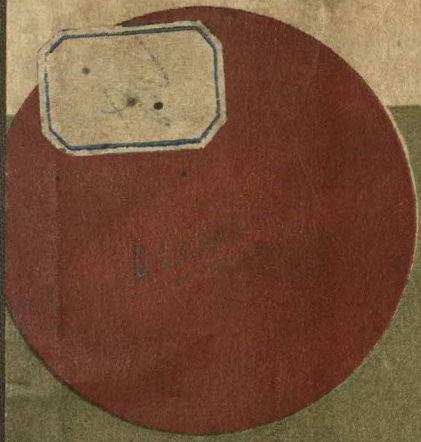
Н. КОЧИН

# СОСТАВ

ОГНЗ-1931

20

П 16578



№ 2.9721

2/11 153

334  
H75

Н. КОЧИН

# ПОЧИН ПОЧИНОК

п16578. К23464

6174



ОГИЗ  
НИЖЕГОРОДСКОЕ  
КРАЕВОЕ  
ОТДЕЛЕНИЕ

1931

О Т П Е Ч А Т А Н О  
в типографии „Нижполиграф“  
Ниж.-Новгород, Варварка, 32.  
в количестве 10000 экземпляров.  
Крайлит № 2598. Зак. № 16949.  
ОГИЗ, НЖ К-4 № 4, печ. л. 3.



## предисловие

Крестьяне дореволюционной Нижегородской деревни перебивались на хлебе и на воде от урожая до урожая. Подтягивая ремень, шли в кабалу к кулаку, батрачили, создавали «честным трудом заработанные» кулацкие тысячи.

Деревня советская встала на новый социалистический путь развития, на путь коллективизации. К 15 января по нашему краю коллективизировано 12,8% всех крестьянских хозяйств.

Преимущества колхозов общепризнаны. И кроме всех прочих преимуществ, имеющих большое политическое значение в развитии нашей экономики, есть еще одно, очень бросающееся в глаза единоличникам. Доход на одно колхозное хозяйство, как правило, во много раз превышает доход бедняцкого и середняцкого единоличного хозяйства.

Книга тов. Кочина на примере Починковского колхоза им. Сталина показывает эти преимущества. Дает разительную картину культурного и экономического роста крестьянских хозяйств, вошедших в колхозы. Показывает все преимущества социалистического пути развития деревни над капиталистическим, тем, по которому предлагали двигаться правые оппортунисты.

Путь капиталистический—это значит итти в кабалу к кулаку, итти по пути развития фермерства, по пути

насаждения фермерско-капиталистических хозяйств, итти, поддерживая рост частно-капиталистических сельско-хозяйственных фабрик, за гроши эксплуатирующих труд батрачества.

Итти по этому пути значит растить новых капиталистов, растить кулаков - кровососов, «пауков, жиреющих за счет рабочего и бедняцко-средняцкого пота».

Этот путь для нас неприемлем. Он означает отказ от построения социализма в нашей стране, отказ от генеральной линии партии, означает отказ от ленинской установки на коллективизацию.

Другой путь — социалистический. Это значит — через колхозы, коммуны, через обобществление труда и средств производства, в союзе и под руководством рабочего класса и его партии, ликвидируя как класс кулачество — итти к социализму, к бесклассовому обществу, к высшей организованной форме труда и распределения производимых продуктов. По этому пути сейчас развивается наша деревня. Этому развитию способствует проводимая советской властью и коммунистической партией политика на решительную индустриализацию всей страны и в том числе сельского хозяйства. Этот путь исходит из генеральной линии партии и полностью соответствует установке Ленина. И сейчас в результате решительного проведения линии партии «мы уже вступили в период социализма» (Сталин).

Издавая книжку очерков члена Нижегородской Ассоциации пролетарских писателей т. Н. Кочина, издательство ставило своей задачей:

показать еще не вошедшему в колхозы крестьянству живую картину колхозного бытия, на фактах колхоза им. Сталина показать единоличнику все преимущества работы артелью;

дать активу, борющемуся за переделку деревни, — новое оружие борьбы за коллективизацию:

помочь колхозникам улучшить свою работу, перенести к себе опыт сталинцев.

## Введение

Сельско-хозяйственная артель имени Сталина зародилась в начале 1930 года. Фактический ее рост начался с весны. Артель составила из четырех мелких колхозов и подавляющего большинства свежих членов. Так появился в Нижегородском крае в селе Починки колхоз-гигант с площадью пашенной земли, не присчитывая сюда неудобь, в 4747 гектаров. Для управления и производства работ разделен колхоз на пять экономий. Они имеют самостоятельные севообороты с прикрепленным к ним составом ближайших по местности домохозяев. Экономии эти такие: Починковская, Помалатская, Березенки—получили звание по кличкам села и улиц его, и Тагаевская и Янкин-Станская—получили кличку по близлежащим селениям. Стало быть артель территориально выходит за пределы районного села. Управляется она через уполномоченных. Для каждой экономии один. Уполномоченным подчинены бригадиры, а те и другие—правлению. Всего в гиганте 905 семей, в них едоков 4190. Крестьянских семей в колхозе 655, рабочих 40, ремесленников 130, служащих 152. Крестьянская часть на две трети бед-

няцкая. Уклон у гиганта животноводчески-зерновой. То, что колхоз является гигантом, и то, что опыт работы в нем был начальным в крае, и то, что состав колхозников показательно разномастен это, конечно, определило природу колхоза и характер его развития. Вскрытие и того и другого и составляет сущность написанного. А написанное касается лишь первого этапа колхозной стройки—сезона 1930 г.

*Автор*

---



## I. село починки

Когда спускаешься по дороге с крутого холма к Починкам, то представляется село загнанным в низину. А на самом деле в долу один только его конец, а всеми прочими улицами и слободами распласталось оно по скату пологой возвышенности. Со спуска восточных холмов глядишь на груды деревянных построек и около приметны тебе прежде всего: белые стены сооружающегося завода на отшибе, сенов стога на лугу и клади ржаного за гумнами.

Из самой середины серых селянских домов высится кирпичное трехэтажное здание педтехникума. А спустишься еще ниже по холму промеж двух взгорий, и местность в глазах теряется. Село покажет тебе сплошняком только зады дворов и тощих огородов, и глаза приходится уже поднимать кверху, чтобы увидеть побольше. А увидишь палестины полей, упирающихся в простор, конца им краю не видно. И ни одной постройки на них. Пашенное приволье. Приблизись к селу—распознаешь приметы замшалога древнего селения, разбуженного пятилеткой, торчат кое-где постройки заново, столбы для электрических проводов, обрывки афиш на заборах. Густо-грязная черноземная дорога ведет проулками к сердцу селения—к площади его. Осваиваешься сперва с улицами кривыми, бугри-

стыми, узкими, ни одной нигде травинки. Сразу различимы следы бесперебойной езды—село базарное, районное, колхозное. Дома рознятся друг от друга, как день от ночи, рядом с пятистенными, каменными двухоконные хаты батраков. Целые переулки составлены из покосившихся, полугнилых домушек, а есть улицы и кварталы диву даешься—настоящий пригород. Один сказ — торгашеское село.

В Починках близ трех тысяч домов и тринадцать тысяч в них жителей. Всему селению голова—базарная площадь. Тут разместились дома бывшего купеческого народа, ларьки, кладовые, магазины. Посередине площади—чрезвычайно ровной и вместительной—собор, два ряда кооперативных теперь магазинов, книжная лавка, сама площадь величиной будет с Нижегородскую «Первого мая». По четвергам она переполняется приезжими. Торговля ведется скотом и хлебом. В царские времена на площади, загроможденной повозками и людом, и скотиной и кустарными изделиями района—по базарным четвергам дивили народ купцы отчаянной своей гульбой и на площади же вели слобожане кулацкие бои «стенка на стенку», по «охотке» и на «любака». Чаше получалось так: дрались слобода на слободу, реже один на один. Отличались верным ударом и тяжеловесностью кулака коннозаводские слобожане.

Из бойцов некоторые живы посейчас, не тот в них дух и не та уже закваска.

Мордобитие, вишь, нынче не в почете. А в те времена по базарным дням целый десяток стражников не мог сладить с драчунами. Починковцы любому поведуют, захлебываясь от воспоминаний, про то, как отчаянные из кулачных вояк противились царским блюстителям тишины и загоняли урядников в горшечные ряды, ломали им затылки глиняной посудой. Сейчас базары стали мельче и тише, шумность только подле госспирта, а на площади вырос «Дом культуры», выделанный из церкви. Тут же электростанция при колхозной

мельнице—площадь освещается электричеством Сталинского колхоза. Починки разрезаются на две половины рекой. Река Рудня—приток Алатыря—при запруде 20 сажен шириной. Три слободы окружают село: с запада, с севера и с юга.

В одной из них—Коннозаводской—стоит первый в Советском Союзе конный завод. Сейчас зовется он совхозом племенных производителей грузового типа лошадей (Бельгийская порода—Брабансоны). Триста лет назад на месте Починок ничего не было кроме дубовых рощ. Говорят, пришла мордва, теснимая иноземцами, она сделала почин по расчистке мест для жилья, тут и образовался поселок Починок или Починки. Потом один барин, сродник царю Алексею Романову, эти места прибрал к своим рукам и перевел туда из подмосковного своего имения русских. А еще позднее тут осели также и татары. Праотцы нынешних починковцев весьма разноплеменный, выходит, народ. Это доселе сказывается на языке, обычаях и на обличии. Отсек Сталинской комячейки, утверждают старожилы, больше похож на татарина. Говор у починковцев видоизмененный московский. Местная особенность его такая—починковцы «цекают»: «хоцу вскоцу, хоцу не вскоцу». Скажут они: «ты молодчина, даю тебе два цина, дурак да дурачина». И по сию пору не вывелись обряды пышного сватовства и пьяных гульбищ гласных при старинных поводках. Кстати тут припомнить: при в'езде в улицу меня встретила свадебная толпа девок и баб в невиданно ярких стародавних нарядах. На головах были русские кокошники из бархата или атласа с позументами, а сами женщины приодеты были в широкие голубые или пунцовые сарафаны с оборками. Сарафаны перетянуты на грудях передником по старинке. Кофты в кисеях подстагы цветом сарафанам. Все бабы и девки толстыми выглядели непомерно—на них юбок по две по три под сарафаном для теплоты и деревенского форса было надето. Сарафаны ширились и дулись при плясе и за-

дорных песенных выкриках: «На стене висит пальто, замуж не берет никто. А я выйду закрицу: караул, замуж хоцу».

Починковцы любили богомолье. Целых шесть перквей на селе, если присчитывать и сданную под клуб,— это, думаю, показатель. И посейчас многие из пожилых, конечно, пренебрегают кино и спектаклями единственно потому, что то и другое происходит там, «где место свято».

Починковский район черноземен и скот этих мест издавна славен своей племенностью. Тутешние помещики, которых было сверхобильно, выписывали скот из-за границы, а также перекупали русские породы коров ярославок и холмогорок, разводили английского йоркшира из свиней, из рабочего скота бельгийского брабансона. Разоряясь, спускали это населению. Так после революции весь породистый скот и остался в районе—попечение за ним легло на животноводсоюз, который, между прочим, помог в укомплектовании Сталинского колхоза племенными свиньями. Вообще в районе вовсе не редкость встретить у крестьянина породистую лошадь или корову. Поэтому колхозное дело здесь приобретает ценность исключительную. Опыт этого и прежних лет дал в небольшом количестве результаты, неизмеримо превысившие ожидания. Колхоз же гигант имени Сталина, один из крупнейших в крае, вовсе молод—имеет за собой только один сезон поражений и побед—о них и приехал я выведать.

Приехал я в Починки в невзрачный ноябрьский день. Кооперативные номера были нарушены на неделю, мы мотались от избы к избе, ища пристанища для ночлега. Парню, надо думать, надоела эта канитель, когда мы получили отказ от третьего домохозяйна, парень облокотился на грядку телеги и спросил: «А ты отколь-ди и по каким делам-ди сюда пожаловал?»

Я ответил: по каким делам пожаловал, по колхозным.

«Ездют—много сяды, спокойно сказал он, по колхозным делам, а зачем, скажи на милость, ездют. Все и так явственно. Гибнет добренькое без призору, плачут народные копейки, ни порядка, ни хлеба. Доработались до ручки. Видал ли на поле копны хлебов—это ихние. А ведь зима стучится. Горе горькое. Есть едим, а работа впереди. Не поздно, не рано всех прежде времени проводят нас туда—в могилевскую губернию, едрена курица».

«Вишь ты какой, ответил я. Земля ведь тут перво-степенная и урожай неплох был, хлеще, чем у единоличников, говорят».

«Говорят—кур доят. Глянь вот на меня. Наг и бос и в зиму без хлеба остался. А чтоб получить что-нибудь от них, так извини подвисься»....

«Ты из Сталинского разве?»

«От самого, дорогой гражданин, началу организации его, и только неделю вышел. Стали делить наработанное, ан мне приходит с воробьиный нос, а, смешно сказать, десять пудов картошки за целое лето... мать ты моя честная».

Экие напасти. Как же жить крестьянской семье на такую цифру. Недоуменные эти разговоры я запомнил накрепко, отправляясь на поиски ночлега. Я вскоре нашел его в беленьком доме на базарной площади в центре села у крестьянина единоличника. Я покончил разговоры с хозяйкой про цену и зашел в парикмахерскую при адмотделе. Брил парикмахер, отбывая принудительные работы за скрытое серебро, рыжего мужика; этот последний говорил с расстановкой слов:

«Вот и попробуй, голова, попробуй тут единоличник, задача. У меня, к примеру, пяток их—едунов—мал-мала меньше, которые глупыши—в яслях были целое лето, а я с женой вдвоем только, мил человек, обеспечил через старание себя до нови и даже, скажу тебе, с излишком обеспечил. Пркиинь, таперича, попробуй, какая у нас с прошлой жизнью размолвка есть, и в чем корень происхождения ее. Когда, скажем, так, я лошадь дер-

жал и одиноко робил, поту лилось куда больше, но он испарялся, а в кармане, глядишь, оказывался все тот же шиш. Мил человек, в те поры я лошади половину зерна скармливал, а как придет уборка хлебов, да посеешь после озимое, мешочка два с'ешь с ребятами, глянь-поглянь, вместе с окончанием работ в сусеках тоже всему конец. Собирайся в кружок и запевай разлуку. А отчего так? Да все оттого, мил человек, что кроме корму и ремень мне на рабочую пору требовался, и веревка, и то и другое где-то взять надо было, да кроме прочего сошники точил, телега, колеса в хлам к тому же незаметно превратятся. А теперь, суди сам, другой коленкор. Бригада специальная готовит нам лошадей, попил, поел и айда, а ежели, к примеру сказать, что и поломалось, для этого дела особый спец есть, минтом устроит».

«Стало быть, в колхозе тебе милее, Федин, чем одиночное хозяйствование, даже если принять первые в общем большом деле неполадки, спросил сосед, и факсон жизни выпал мужику другой?»

«Вовсе другой»,—ответил Федин.

«Разговоры есть, друг, иного духа».

«От сплетен да от напраслин мудрено уйти».

«Это, положим, верно. Не единого стада люди».

Федин поднялся с кресла, отряхиваясь закурил и продолжал словоохотливее:

«Прямо сказать, тут ропщут одни гниды... егоисты. Кто не веровал и далеко от работы сидел. Вот, кто в проигрыше остался—ленивцы. Дверь в избе на крюк никогда не закладывали. Утром вставай да руку протягивай, его опять скидывай. Есть сказка про то, как ленивцы-супруги не хотели горшка вымыть. Поедят, а горшок мыть ни тому ни другому не хочется. Тогда уговор они держали. Кто раньше встанет утром, тому и мыть. Так они оба целый день и лежали, притворившись спящими. Вот каким туго у нас в колхозе, ая-й туго. А каждый трудовик тебе такой же даст ответ, как я...».

«Уж не из Сталинского литы колхоза, отец?»—спросил я, исходя любопытством.

«Из него, мил человек. Что вам угодно будет?»

«Мне не угодно ничего. Я просто любопытствую». И он ушел, вселив в меня рой всяких противоречивых размышлений. Я воссоздал в памяти ямщика моего—белоголового парня и этого—бритого рядом с ним поставил, по виду и тот и другой одинаковы, а поди ж ты.

Отчего же разные речи?

Это была задача для меня—пришлого человека, смаху не разрешимая. Где на нее ответ?



## II. курносые. брабансоны. клейдесдали

Вечером, подгоняемый нетерпением, я решил отыскать дом председателя и дожидаться прихода самого его. Путь лежал через улицу, залитую со всех сторон непроглядною как смоль тьмью. Из окон кое-которых домов, правда, пробивалось электричество, только оно не давало в улице света. Улица же была вся в выбоинах и колеях, бестравая, вз'ерошенная скотиной, которую водят для продажи на базар, улица была вся, притом, покрыта жижей, в одном месте слоем толще, в другом малость тонее. Известно выражение: «Мы вязли по колена».—Вот тут такое выражение к месту, оно заполнялось смыслом доверху. Кто не знаком с базарными селами, тот не знает, что такое есть уличная грязь. Ноги мои непрестанно натыкались на брошенные останки телег или чурбанов, на черепки побитых горшков, ноги попадали в ямы, выбоины, в лужи, в канавы. Я остановился и думал, какой ногой выгодней шагать, какую ногу вначале выдергивать, если увязали сразу обе. Грязь пригруживалась к коленкам, я чувствовал, как мокрота лезла сверху по ноге во внутрь сапога вплоть до щиколоток. Местами я шагал по лужам, в таком случае вода шумела под ногами и брызги ее обмывали мое лицо. Когда, читатель, ты будешь в таком же вот селе, в глубокую осеннюю пору, да когда



на улицах даже собаки лаять не решаются от уныния—вспомнишь эти строки и безоговорочно им поверишь.

Через темные сенцы я проник в переднюю горницу одного из бывших кулацких домов, в котором теперь разместились семья председателя сталинского колхоза. Горница была просторная, оклеенная обоями веселенького цвета. В углу ее в огромных горшках стояли крупные цветы—агава, лимон и еще что-то, а подле стены находился стол с самоваром и посудой, по полу были разбросаны игрушки: конь с отбитыми ногами и детский свисток. За перегородкой спала жена председателя с детьми на деревянной кровати. Такая же деревянная кровать занимала угол подле двери. Поверх одеяла спал одетым член правления артели тов. Рожков, в ведении его находилась производственная часть колхоза, значит в первую очередь попечение о свиньях и о рабочем скоте. Носовой свист несся по комнате. Я подсел к столу и долго сидел ничего не предпринимая. Когда мне надоело это, выходил на крыльцо в тьму кромешную и опять выходил, и опять садился, и опять выжидал пробуждение людей. Один раз я хлопнул дверьми неудачно громко, и Рожков соскочил с кровати, быстро подсел к столу, потянулся.

«Умучаешься за день, так вот тут и валишься на кровать председателю, домой дойти некогда». А домой надо итти, почитай, под три километра, живу в Тагаевской я экономии. Людей подходящих в колхозе мало, чтобы заменить нас «стариков», вот опять про кадры разговор у нас получается»...

Он сухопар, как англичанин, брит, а лицо у него и разговор и нрав чисто мужицкие. Беспартийным середняком повернула его социальная непреложность к колхозным делам и стал он в районе первым организатором первого колхозного поселка — Тагаевского, поглощенного потом Сталинским гигантом, как о том в введении указано. Разумеется, это узнано мною было потом, а сперва между нами был такой разговор.

Когда подсели к столу, я ему рассказал, какие дела меня больше всего занимают.

Тут мы разговорились, он повеселел, заторопился греть самовар и так раскалялся, что, как это случается с каждым, незаметно перешел на вопросы, его наиболее тревожащие. Я слушал, изумляясь его осведомленности про откорм английской крупной свиньи, которая дает помет в 18 поросят и достигает веса до 30 пудов. Породистая эта свинья уже в десятимесячном возрасте идет в случку, в возрасте в 14 месяцев приносит поросят и в возрасте пяти месяцев их можно ставить на откорм, чтобы в свою очередь получить мясную тушу в семь пудов. Для нарастания одного килограмма мяса на рогатом скоте нужно потратить, примерно, 14 кило зерна, английская крупная свинья кило дает лишь за 3 килограмма того же самого корма и при всем том надо крепко помнить, что свинина по питательности занимает первое место между другими всеми мясопродуктами. Я слушал занимательнейшие рассказы, сдобренные цветной оправой местного наречия, про случку свиней, про их откорм и изумлялся чудесным свойствам английского белого йоркшира и черного беркшира. Потом подал чаю он, проснулась жена председателя за перегородкой, как-то быстро освоились, Рожков стал вспоминать, прихлебывая из блюдечка и держа его пятерней:

«В 1928 году с бедняками в единстве выехал я из села на колхозный участок. Крепко в голову ударило, нет избавленья в одинокой работе. Соху ладь, веревку доставай, хомут вяжи, телегу исправляй, борозды наблюдай, с шабрами лайся — невеселая эта картина. Один раз, дело было утром рано, поехал я на пахоту, очень жестокая была пахота. Земля ссохлась, была как каменная, в то время хруснул у меня сошник и тоска забрала меня лютая, неужели назначено всю жизнь с сохой маяться? Ну я плюнул, конечно, на сошник и на полосу, прибrel домой с думой — переменить жизнь надо. Исхожены старые крестьянские тропы отцов, путного из того ничего не видно и в голове решение: пе-

ременить, жизнь переменить. Думаю хуже этого быть не может. Вот стал я сбивать в колхоз сельчан.

А отец у меня ни в какую. «Один останусь, говорит, но на общее житье не пойду, выдумке дьявола не поддамся», и верно, не поддался. Ушел от меня старик, остался на селе одиноким и проклял меня и пророчил мне гибель. И вот прошло два года, все не приходил он ко мне. Сперва слухам верил, что живем худо, а потом и этому верить стало нельзя, явь выпирала, избушку я хорошую выстроил и обзавелся скотинкой».

— Пришел старик? — спрашиваю.

— Пришел однажды, не стерпело нутро. Сел на порожек моей новой избы, голову свеся и сознался — живете де вы лучше нас, едите лучше нас, вижу, но не радуюсь и в колхозную жизнь попрежнему итти не желаю.

— Что так, спрашиваю, отец?

— Терпелив господь и многомилостив, но придет время взыщет за нарушение старой жизни, а я каков был, таким отсюда и изыду.

— Ушел?

— Поклонился мне старозаветно до полу и ушел. Железо. Такого не переделать, да и переделывать стоит. И, всего ему житья без году неделя. Вот она, старая хватка жизни. А?

... «Жил до этих последних лет я как многие, детей наживал, день за днем провожал, в поту и некогда было подумать над лютой жизнью одиночки, только в то время начал задумываться, как в деревню оживление проникло, и вот гляжу сам на себя — ровно как со всеми моими шабрами схож, а ровно и не схож. Другое что-то во мне появилось. Вот, к примеру, это взять — в голове бьется мысль — малограмотен. Дело большое, а знание маленькое, вон когда — на четвертом десятке лет этого хватился.

На курсы ведь ездил я, голова, на месячные, на колхозные, в мозгах больше прояснилось и стремление к книге припало пуще. Так питье после селедки одоле-

вает. Что скучнее таблицы умножения или дробей, но над таблицей умножения и над десятичными дробями с большим удовольствием стал бы «пыкать» и «фыкать», потому, что сейчас в этом у нас секрет к возвращению хороших свиней зарыт. Слова встречаются и знаки непонятные, а на них рецепт кормления основан. И вся жизнь стала по-иначе представляться мне. Вот начать бы ее с самого начала, какие бы только дела при этом разе были понаделаны».

Я ушел от него, начисто околхозившегося середняка, ночью, мы держали уговор, что с утра оглядим дворы. А когда утро явилось, первым делом моим было ознакомиться с жильем свиней. В утепленных хлевах я увидел все породы, мыслимые в пределах колхозного почина и условий местности. Метисов от английской белой, английскую курносую и простую замухрыгу нашу, отечественную свинушку — низкосортное творенье. Хлевы свиней размещены вдоль внутренних стен двора, отстроенного некогда торгашом. Двор очищен от крестьянского мусора, опорядочек, разделен досками на множество отделений для взрослых свиней, для незрелых, для производителей, для супоросых маток. Полтора ста голов, включая в это число поросят, обслужено кулацким двором.

Мы приближаемся к хлеву. Свилярь открывает дверцу его и нам предоставлена возможность в тусклом свете конюшни увидеть тушищу в шестнадцать пудов весом. Она стоит, эта живая туша, подле чашки с кормом, ногами увязнув в жирной жиже. Это самый крупный из экземпляров свилярника. Свинья уродливо-курносая, стоя, она чавкает спокойно над кормушкой. Помнится, ела она болтушку картофельную, перемешанную с мукой из вики. Я заметил, свинья была настолько курносая, что пятак ее глядел в небо, хотя голову она держала нормально. Только тут мне довелось узнать из разговоров с сопутствующими, как следует распознавать качество свиных пород. В Сталинском колхозе насаждается пока средняя английская, или курносая в просторечьи, что одно и то же.

Средняя английская свинья имеет короткую, сильно курносую голову и отличается большой сальностью, чем свинья из породы английских крупных. Средняя свинья весит не больше пятнадцати пудов, как правило. Она менее длинна, чем крупная английская, у ней более тупая морда, короче ноги, спина прямая без всяких выгибов и одинаково широкая во всей своей длине. Весь верх туловища от шеи до корня хвоста в одну линию, точно по шнуру обрезан. Иногда крестец немного спускается вниз от прямой спины. Туловище широкое в лопатках, окороках, и глубокое в груди и подпруге. Так что туловище английской свиньи представляет собой колоду широкую и достаточно глубокую. Шея у английской свиньи тоже широкая, но короткая, сливающаяся с линией спины. А голова довольно длинная, расширенная лишь во лбу и щеках, с большим перегибом в переносице. От этого и звание свиньи—курносая. Щетина на английской курносой густая, но не грубая, гладко прилегающая к коже. Раньше, лет 35—40, думали, что хорошая свинья должна быть обязательно курносой, гола и на низких ножках. Такую раньше и культивировали помещики починковских мест. А действительность показала, что то было большим заблуждением. Английская, например, крупная не имеет таких качеств, но оказалась культурней и выгодней. В Качкуровском колхозе Починковского же района уже возвращают теперь английскую крупную, а в Сталинском пока пристрастие к курносой.

По одежке протягивай ножки — недостаток, вишь, в производителях. Крупная английская племенная свинья пока, вообще-то, редкость в районе. Так и приходится дружить с курносой. А сильно курносая свинья имеет большие недостатки. Она плохо пережевывает корм, так как у ней зубы верхней челюсти не приходятся на зубы нижней челюсти. При том же, надо сказать, у курносых свиней бывают часто кровотечения из носа. Поэтому нынешние свиньи уже не курносы в самой Англии, пряморылы с некоторым изгибом профиля.

Излишне низкие и тонкие ноги тоже оказались непригодными для полновесных свиней, такие ноги не могут долго носить большие тяжести свиных туш и болят. Теперь от хорошей свиньи требуют обязательно крепких довольно высоких ног. Голые свиньи, или такие, что покрыты очень редкой щетиной, теперь тоже бракуются, так как они незадачливо переносят холода, бывают лишку изнежены, часто простужаются. От хорошей свиньи требуют теперь, чтоб та, как говорится, была хорошо одета. Свиляр тычет курносому великану в бок, тот переступает лениво и поворачивает к нам свои непомерно развитые окорока.

«Пока почет тебе, смеется свиляр, как тульскому губернатору: и жри, и спи, и уход примаь, а настанет пора—попробуешь топора».

После этого мы удаляемся в теплые хлевы, там топится печка и температура в тех хлевах комнатная. Печка предназначена для целых семей, больше матери тут с вовсе молодыми детенышами. Поросята, цвета зреющей ржи, неумными шарами катаются подле распростершихся на подстилке маток, отягченных заботами и изнуренных детьми. Одни дремлют, обвалявшись подстилкой, другие блаженно чешутся у загородок.

Есть такие хлевы—лежат в них борова в растяжку, точно поколели. Это недавно кастрированные. Сейчас они хилы и немощны, а вскоре станут жиреть от жранья и утери интересов к маткам.

Затем проходим мимо хлевов, в них хряки-одногодки, по пятку, по семерке в одном отделении. Но по законам свинячей жизни они уживаются друг с дружкой. Мордами уткнувшись в мягкие части соседей, они довольны и отнюдь не жалуются на ограниченную жилплощадь. Дальше идут супоросые со вздутыми животами и грудями, свисшими к подстилке. Всех супоросых в свилярнике семь десятков. Количество племенных свиней увеличивают с каждой неделей. У случайных крестьян покупают на базарах, приобретают через животноводсоюз. Ставка в колхозе на свинью. Райзо при-

дает колхозу животноводческо-зерновое направление с особым вниманием к пеньководству для обслуживания завода, строящегося подле села. К январю предстоящего года планом намечено обзавестись пятьюстами свиноматок, — это будет стандартная цифра свиных производителей.

«Вот пойдут валить—проситься,—говорит свинарь, так ночи нам некогда будет спать, армия пискунов этих явится, куда нам эту армию деть. А канители с ними, как с малыми ребятами. Самый неподходящий народ из тварей. Свинья—свиньей и зовется».

Свинья носит детей три месяца, три недели и три дня.

Неприязнь свинаря к «неподходящему народу» известно чем вызвана. Поросята, родившись, устраивают борьбу между собою из-за распределения сосков матери. Все пытаются захватить самые молочные. Некоторые поросята, кои посильнее, чтобы сохранить раз навсегда занятую позицию, зубами хватают и держат соски до тех пор, как распределение не закончится. Только дня через два получается успокоение,—пососавши один и тот же сосок несколько раз, поросенок уже привыкает к нему на все время. Часто случается так, что поросят появилось на свет больше, чем количество сосков, имеющих у матери, тогда лишних поросят подпускают к другой матке. Но матка распознает чужих по запаху и может их убить. Когда хотят, чтобы матка кормила молоком чужих детей за отсутствием должного количества своих, всех поросят смазывают керосином, тогда не удастся матке отличить по запаху своих от чужих и она ко всем привыкает.

Главной ценностью свинарника всякого являются английские хряки—производители потомства.

Ими кроют простых русских маток и получают метисы,—отличное пополнение свиней, быстро растущих, быстро жиреющих и добротнo оплачивающих откорм. Хорошо от хряков только первое поколение. А если взять метисов хряка и свинку этого поколения и спарить между собою, то как бы они сами ни были хороши

с виду, родившиеся от них поросята появляются на свет целиком схожими с бабкой, т.-е. с простой русской свиньей. Поэтому потомство от английского хряка готовится всегда для убоя. Сам же хряк, выходящий, является собою в культурно-поставленном животноводческом колхозе образец активнейшего старателя по изживанию прорыва в мясном деле. Примерный хряк-производитель должен иметь правильный постав ног, линия спины у него обычно без перехватов, он быстро встает, поворачивается и обнаруживает незаурядный темперамент при случке. У сталинцев пока нет похвальных производителей, приобретение их—это дело ближайших дней.

Свинари, эти вчерашние единоличники, стали распознавать породы свиней и с точностью, изумляющей меня, устанавливали пригодность племенного производителя. Даже мальчики, проходя, на глазок, давали характеристики свиньям, как жировым, или как мясным.

Мы выходим в сад задними воротами. Часть его уже отведена для расширения свинарника. Здесь воздвигаются хлевы, еле различимые по укладке бревен на земле. Позади нас продолжается хрюканье на все лады. Частое и тревожное хрюканье молодых сосунков, успокоенное брюзжание старух, полусонное всхлипывание супоросых маток. То была музыка колхозного двора, заменившего здесь помещичий. Такая музыка проводила нас вплоть до новой улицы.

И рогатый и рабочий скот сталинцами при случае всегда прикупался, разумеется, отбирали племенной и породистый. Стала нехватка дворов, кулацкие разбросаны были по селению, так в развороте теперь стройка больших. Уже выросли конные, их счетом три, вмещают они сто двадцать тяжеловозов. Самый удобный из дворов в Березенской экономии, он позадь домов, на конце слободы. Длинная, с деревянной крышей постройка, невысокая сама по себе, воротами в проулок—вид ее крестьянский, а внутри—коленкор другой. Весь



он заполнен стойлами для тяжеловозов. Стойла расположены вдоль обеих стен, посередь их коридор во всю длину двора. Когда остановишься у входа коридора и глядишь через нутро его, по прямой линии, видишь небольшое светлое отверстие в перспективе. Это ворота с противоположной стороны. А стойла во дворе трехстенные, имеющие сплошной выход к коридору, друг от дружки отделены они не доходящими до начала крыши досчатыми перегородками. Во дворе чисто, лошади не мараются о свой сырой помет, как в крестьянских дворах, коридор метен, подстилка у лошадей свежая, пахнущая полем и гумнами. Дознано мною — на двор пошли бревенчатые материалы кулацких построек. Когда их ломали, то членам правления тут же на глазах у всех кулаки угрожали избиением и смертью. Один раз это было столь опасно, даже вызвана была милиция и только при ее охране можно было продолжать работу.

Мы проходим мимо стойл. Конюх охотно дает пояснения о качестве тяжеловозов. Тяжеловоз должен иметь широкую грудь и широкий зад, спина у него выгнутая, несколько укороченный окорок, ровная глубина туловища. Ноги у примерного жеребца бывают костисты, сухи, с мускулистым подплечьем и густой щеткой. Тяжеловозы вывезены к нам из Бельгии, поэтому их нередко называют бельгийцами. Там, на сочном клевере веками складывалась эта порода грузных сильных коней шаговой езды. Различают много видов коней шаговой езды, у сталинцев имеются две породы — бельгийцы (точное название породы — «брабансоны») и клейдесдали, родом из Англии. Конюх, молодой и резвый парень в дубленом полушубке, вымазанном спереди пометом брабансонов, расторопно говорит на ходу: «Это вот бережная матка от нашего Сокола, а Самсон вон там».

Самсон, мирный мерин, косится на нас. У него прямая спина, компактное и глубокое туловище, круп длин-

ный и мускулистый. Конюх все знает: кто кому отец и мать в этой семье, по виду одинаково рослых брабансонов, и откуда сородичи и праотцы привезены. И получается так, что отец бельгиец, мать русская и наоборот. Конюх указывает на толстоногую, вороной масти и с огромными белыми щетками лошадь «в чулках» («чулки» — белая масть ног выше бабки — всегда признак клейдесдальского происхождения).

«Ей плохо пришлось в Росее. Сено на ней возили, — диву даешься, худа была, мрачна была, а теперь вот глядите, поправляется на даровщинке».

Он ударяет ей по крупу ладонью: «Ну, ты, Бессарабия поворачивайсь. Вот, глядите, товарищи. «Чудо».

Вывели «Чудо» на проулок. Гладкого мерина с непомерно развитым задом. Он вонзился копытами в землю и застыл в грузной этой неподвижности. Конюх полюбовался им и отвел затем в конюшню. Он выводил нам из стойла потом всех, вывел «Пионера», веселенькую рыжую лошадку с челкой завитком, сердитого «Сокола», задумчивую «Марусю», неприветливого и серьезно-го «Богатыря» и остроглазого «Мальчика». «Это, братцы, цветки, — сказал конюх, — ягодки будут впереди».

«Подавай скорее «Адамову голову», — нетерпеливо прикрикнул член правления. Тут вывели непомерно большую, чернявую лошадь, спокойную и грузную, как купчиха в сорок лет.

«Адамова голова» — это царь-лошадь, — сказал конюх, — и верно, большеголовая, непомерно ожиревшая, она казалась большой, но едва ли этим следовало хвалиться.

Тяжеловоз в такое время, когда нехватка тракторов честно колхозников выручает. Это очевиднее всего на Сталинском колхозе. Тракторов там четыре, третья часть требующихся. Из них имеются такие, которые по дряхлости скоро выйдут с полей. А если еще вспомнить, что нет в колхозе настоящего механика, могущего починить трактор, в работе нередко ломающийся, то представится роль тяжеловоза в колхозной стройке бо

лее значимой. Трактористы-самоучки, не побывавшие даже на курсах, пока часто встречающееся в колхозе явление. Такие есть и у сталинцев. Недостаток кадров. Мне пришлось наблюдать, как среди работы остановился трактор и тракторист ходил около него, похлопывая по крышкам рукой, отвинчивал гайки и сокрушенно покачивал головой, а колхозники на него, как на спасителя, глядели, и напрасно. Так и не устроил он трактора. В ход пошли лошадки.

---

### III. на полях

«Говорят и пишут—«инженер», то да се, пято-десято,—ловец мудрости, достойный всех благ земных, а что инженер? В заводе, скажу я тебе, под крышей, где тепло и светло каждодневно и где самый лютый враг—лень да незнание,—работать больно не мудро. А наш,—агрономов враг, — неисчислимы: мышь тебе враг, и дождь тебе враг, и червяк, и сорняк, и кулак, и тысяча всяких неожиданностей. А поля растянулись на двадцать километров в диаметре и об'ехать их только чего стоит. Вот, вам, инженер»...

Третий день крепят землю заморозки, колобы грязи огромными шишками торчат из-под первой пороши, леденит на ветру лицо, санки с нами кидает из стороны в сторону резвая рысистая лошадка Сокол, а агроном, мой спутник, Власов, постигший без университетской науки весь смысл мельчайших капризов хозяйствования,—Власов, Василий Николаевич, вводит меня в тайники своего дела. У сталинцев он из агрономов один и званье у него громкое—«директор хозяйства», а вид мужичий. Большая заячья шапка, считая в колхозной мастерской, пиджак простецкий, кожаная сумка для записной книжки, в которой сохранены все пометки о всходах, посевах и уборке полей. Поверх всего — плащ, валенки на ногах преогромные.

В четырех километрах от села идет молотьба, мы различаем на ровном пространстве поля, соломенные ометы, домик и двор, и гумна, с людьми на нем. Навстречу нам попадается мужик, он везет воз яровой соломы, воз навит косообо, сани на виду нашем раскатились, воз покосился и пласт соломы сполз на дорогу.

«Гляди глазами, — закричал Власов дружелюбно, двадцать лет свое навивал, любо-дорого глядеть, а на двадцать первом, в колхоз попав, разучился разом. Руки, что ли отсохли?»

Мужик подобрал солому, положив ее в зад саней за веревки, и что-то пробурчал извинительное.

«Приглядишься к ним, к таким и к иным, про них библию напишешь и не исчерпаешь всего. Иной раз примечашь, что ловок и удал, на работе вовсе не тот, который в своем хозяйстве старательным считался, а почему так? Закваска духа на общих полях иная занадобилась, отсюда объяснение всему черпай, и выйдет, что Дарья Мосева, которая нулем вне колхоза была, внутри его становится большой хозяйственной находкой».

На гумне производилась молотьба шестиконною молотилкой, а работала женская бригада. Четверка босых ребятишек, сидя на отрогах привода, погоняла лошадей криком гулким для полевого простора:

«Шагай!—крик несся их далеко за ометы!—Шагайте, дьяволы души»...

Машина урчала равномерно и выбрасывала солому под ноги колхознице: эта ловко отгребала солому к сторонке, а зерно из-под машины в широкодонном неглубоком ящике принимала девушка и сыпала его в кучу, подле веялок. Веялок стояло две. Веяли бабы. Ворох пухлой пелевы позади их вырастал незримо, а соломенная пыль окутывала веяльщиц, оттого лица их серели. Около большого вороха провеянного зерна стояли ничего не делая две бабы, дальше их сложен был гурт мешков с овсом. Когда мы приблизились

к работающим, баба, столбом стоящая от ничегонеделания, произнесла:

«Какой-то задним местом размышляет, а делу от этого прямой урон. Изводить крестьян непорядком больно просто».

Сразу выясняется: молотба идет своим чередом, нераденье бригадира к делу — своим. Зерновая куча растет да растет, омет ближний тает, пережевываемый машиной, а мешков для уборки с гумна овсяного жита — нет. Насыпальщицы бездействуют, исходя жалобами. Мелкий сверху падает снежок — овес поверх кучи уже легонько взмок, до каких пор тут ему отлеживаться!

Бригадир вяло объясняет Власову: «мешки «бесприменно» нужны, он это сам «знал давно», но чтоб отправить набитые овсом мешки в село, их там выпростать и обратно привезти, требуются лошади, а лошадей в обрез. Утром были люди, сообщить надо было в экономию, «запамятовал».

«О чем же ты раньше думал, Иван?» — спрашивает тихо Власов.

«Вот, то-то и оно-то, — оправдывается тот, — не додумал малость, какая досада».

Зерно попрежнему продолжают ссыпать в кучу, а потом, когда настает время обеда, посылают которую-то из колхозниц с возами в село. Власов говорит себе под нос, оглядывая упряжь у лошадей:

«Он бы «додумал», кабы на собственном гумнышке молотил. Он бы ночи не спал, за неделю бы все высчитал и обмозговал. Вот и ездись — туда-сюда. Чуть-что неполадка — встает дело»... Мы идем обогреться в сторожку, там рассаживаются колхозники где и на чем попало. Они развязывают узлы с хлебом, приносят из кухни, которая на отшибе, картошку лупленую в чашках. Сама сторожка — маленькая избенка с земляным полом, с нарами, с железной печкой в углу. На стене висит берданка. Копотно, полутемно в сторожке, окошечки махонькие, а по лавке набросана шелуха карто-

фельная, под ногами сухой конопель, им топят печку и дым взвивается под потолок, проходит в раскрытую дверь сторожки.

«Тоже вредительство,—показывает бригадир на трубу печки, кто-то в нее насовал кирпичей, плохо стала дым пропускать».

Власов подсел к столу, разломил руками краюху хлеба и поддел себе масляной картошки из общей чашки закорузлой ложкой.

«Больных тут нет, сказал он, подавая мне другую ложку, хошь-ли?»

Власов и бригадир едят под полусерьезный крик бабы—стряпухи колхозной. Она обижается, что ржаную солому, которую привезли ей для коровы, не ест ее корова. И не понять, где у этой бабы серьезные слова, где несерьезные.

«Нет хуже бабы на свете. Мужик себе навьет воз какой ему надо и везет себе, что лучше, а разве баба навьет такой же, никому не советую родиться бабой. Свалили они мне соломку ржаную, а коровка ее разве будет кушать. Коровка-то моя, воспитанная на неге, она теперича вся исхудала, оплакалась по хорошей соломке... Видно, придется мне вместе с коровкой повеситься».

«Не повесишься.—говорит агроном,—ты других скорее перевешаешь. Ты баба лютая».

«Плохо, ая-й плохо без мужика»,—вздыхает стряпуха...

«Очень тебе плохо, это каждый скажет,—в тон ей дает бригадир, тебе мужик прямо позарез необходим»...

Баба, торопливо тыча разваренной картофелиной в соль, кричит:

«У вас на уме дьявольщина. Вот так завсегда и смеесть над бедными вдовами. а—равенство. Коли ты мужик, а я баба, в тебе силы больше, а во мне силы меньше, ты себе во двор воз какой из общего стога навешь и какой я навью. Вот и колхоз тебе тут—в колхозе тоже неравенство, эх, ты—баба, баба, бестолковая, забубенная твоя голова, доля горькая, плакучая».

И видно было, что только в атмосфере действительной независимости выработалась манера ее стойко твердить, о чем хочет, и подмечать отклонения от норм абсолютного равенства.

«А ты выйди из колхоза,—шутит бригадир,—чем выть да ругаться, тебе будет свобода, на которой березе хочешь, на той и повесишься, и нам будет легче. А то с такой страдающей бабой всему правлению не совладать».

«Хитер ты, Петров, а не хитрее теленка. Умно пес придумал,»—она толкнула бригадира плечом, да как закричит: «Сторонись, первоначальник наш, шейной пластырь первеющей масти».

«Мужик—главный корень ее беспокойства, голова, давно вижу,—вздыхает бригадир,—мужик ей, соковитой вдове, во сне снится. Я все вижу. А мы, извольте видеть, виноваты»...

Опять началась молотьба, турьясь, разгоряченная, безостановочная. Мы едем дальше, затихает стук машин за нашими спинами, а впереди бесконечные полевые просторы. Снегу немного, торчит жнивье еще густой и высокой щетиной на полях индивидуалов. Там, где прошла жатка—все сильно задумо снегом. Власов опять заговаривает задумчиво: «Люблю я охоту на зайца, братец, страх. Иной раз, как выпадет вот такой снежок, признаюсь, неизвестно о чем больше думаешь, о картофельных ямах, которые надо сохранить к весне, или о зайце, которого следует кокнуть. Вон, в такой жнивье одиночника, в ямочках притаясь, он лежит, сукин сын, у полынки и каждый шорох в ухо вбирает. И кто кого перехитрит—в этом весь секрет охоты. А охота—большущее это дело. Зайца, его надо понимать. Если заяц молод—он и глуп, подпускает близко и на мушку по глупости садится, если заяц постарше—в нем осторожности уже больше, а вот матерый пуганый заяц, он, стервец, спит и во сне все слышит, его редко подстрелишь»...

Воодушевился:



«У меня дробовое ружье, а лучше всякой централки. За него мне полностью сто рублей давали, вот у меня какое ружье, но разве продам я его».

Я знаю, что все охотники любят свои ружья и собак своих больше всего на свете. Про них говорят без умолку и качества их обязательно преувеличивают.

Сегодня он скажет, что убил зайца «не поверишь — с волка», а завтра этот заяц вырастает до коровы. Надо прощать это охотникам. И я не перечу Власову, разглядываю впереди возвышения двухскатные до земли, точно это повети дворов, врытых в землю. Под'езжаем ближе и возвышения мне кажутся сараями кирпичных заводов. То я принимал это за полевые постройки, то за шалаши, задутые снегом, а Власов молвил:

«Вот и приехали. Это наши картофельные хранилища, для семян к весенней посадке... Тпру, дьявол...»

Три гурты по одной линии расположились на поле недалеко от дороги. В высоту гурты значительно переросли человека. И очень широки, действительно двухскатно-крышеобразны, и с трубами, что придает им несомненное сходство с крестьянскими земляными амбарами. Такие картофельные гурты делаются в тех местах, где далеко поле отстоит от жилья и когда картофельное поле большое. Везти семена с поля домой осенью, да весной отправлять их в поле обратно, а семян, примерно, тысячи пудов, это — расточительная трата сил и времени. В таком случае сохраняют их в поле, в ямах, подобных этим. Хранение такое, конечно, капризно, но плодотворно при умелом глазе, для здешних же мест оно вовсе ново, не зря агроном тревожится. Хранение это требует постоянного наблюдения, а производится так. Вырывается яма на метр глубины, яма продолговата и выстилается она снопьем. Потом в нее засыпается картофель, непременно сухой, засыпается так, чтобы края ямы совпадали с началом скатообразующей линии картофельного гурта.

Гурт вырастает в высоту на один—два метра, на него накладывается потом солома, она заваливается землей на полметра, чтобы в морозы картофель не прозяб. Там вырастает среди поля гурт, который сохраняется до весны в исправности. В гурте обычно температура считается нормальной от трех до пяти по Реомюру. Картофель тоже дышит, и чтобы температура там не увеличилась, в середку гурта во время его закладки заделывают трубу и соединяют ее с другою, которая выходит концом на поверхность гурта. В каждом гурте я видел их по три. Они были открыты в настоящее время, агроном и приехал проследить состояние температуры в гуртах. Температуру проверяют через трубы и если картофель очень остыл, то затыкают отверстие труб, чтобы температура повысилась, или делают наоборот, если картофелю жарко. При излишней теплоте картофель может прорасти и загнить.

Мы взобрались на гурт и Власов спустил на бичевку термометр в трубу. Через десять минут я вынул его и поглядел. Он показывал нуль.

«Морозовато, сказал агроном и стал затыкать отверстие труб соломой. В другом гурте температура поднялась до 10. Он предложил мне понюхать воздух, идущий из середины гурта через трубу и опустить туда руку. Воздух шел заметно тяжелый, несколько затхлый».

«Где-то начинается гниение, сказал агроном; если процесс не прекратится, то придется развалить гурт, ничего не поделаешь. Я один уже развалил в Тагаевке, увезли картофель домой. Теперь вот и зайцы на ум не пойдут, сна не будет. Представляете ли вы, что значит приехать весной на поле садить картошку и найти в ямах гнилые семена?».

«Агроном виноват, бесхозяйственность, колхозное нерадение — вот оно, посыплется крики, любуйся на них, единоличник, и тому подобное...»

А ведь отчего такое получилось? Кто-нибудь гнилую картошку ссыпал в кучу по лености и нерадению, и

не высушил ее предварительно, вот тебе и авария. А разве агроном за каждой картошиной уследит, разве правлению есть время проверять каждого рыльщика, разве каждый поверит, что от сырой картошки весь гурт пропадет?»

Я стою на гурту и оглядываю окрестность, вбирая в себя горе агрономово. Бывшее картофельное поле колхоза простиралось вплоть до отдаленных холмов, там уже виднеются копны необмолоченного овса, ближе различимо гумно, на котором молотят, копошатся букашками на нем люди, а совсем далеко село Починки — колхозной стройки голова. Власов сокрушенно оглядывает гурты, тычет в бока их снежные голой рукой, потом полами смахнув снег с покрышки труб, закуривает.

«Василий Николаевич,—спрашиваю я, надеясь на чистоту ответа, — терзает меня одна мыслишка, а поведать ее сразу не решаюсь каждому встречному, возможно тут секрет какой-нибудь скрыт. Оглядел я ваши дворы. Они мне понравились, таких дворов у мужиков богатых я не видывал, хотя хозяйствовали они не одно лето, как вы, а десятилетия, брабансонов ваших видел и курносых свиней, и никаких не возникало у меня сомнений, очевидно везде торжество крепкой и дельной хозяйственной руки. А где умелое хозяйствование, там довольство. Но вот споткнулся я на людях ваших. Люди, они, не в пример скотине, разговаривать умеют и громко недовольство высказывают. Встречал я за прошитые дни у вас разного люда изрядно, и середняков, и бедняков, и успел про многое наслышаться. Мельком ловил обрывки фраз, случайные замечания, читал на лицах бородатых, начиная от усмешки, кончая глубокой радостью или глубоким возмущением, или тем и другим одновременно, как у той непонятной бабы, которая ругалась сегодня в сторожке, и в разговор со многими я пускался, и всегда сбивала меня с толку эта моя попытка пощупать суть дела по разговорам; то на од-

того попаду, который колхоз ругает всеми отборными словами, то на другого, который только и жизнь настоящую в колхозе обрел. Встречал я таких, они и на картофельной еде сидя, безупречно и безропотно работали, ночевали в полях под брахлом своим, живали в сторожках неделями, и кроме колхозной жизни ничего не хотят теперь. А другие, глядишь, и хватили трудностей всяких поменьше, а у них недовольств, попреков,—не перечить, но впрочем, они тоже из колхоза не выходят. Чудовищно и непонятно».

«Любят колхоз, не жалуется это те, которые как раз всю тяжесть вынесли».

«Это как понимать надо?»

«Так и понимай».

Тут я поведал ему о колхознике Федине, рассказал про белоголового ямщика, и еще другие примеры.

«Очень все просто тут. Я и говорю, что колхоз любит тот, кто хлеба много заработал, а кто не заработал, тот не любит. Ему и обидно и досадно, что по его не вышло, он со злости и ругается».

«Вот то же говорил белоголовый ямщик. А отчего же он хлеба не заработал?»

«Не работал».

«А не работал почему?»

«Вот тут весь гвоздь истории и заколочен. Я разрешить эту задачу предоставляю вам самим, поскольку, во-первых, эти штуки и для меня предмет долгих размышлений, и поскольку вам надо самому иметь свою точку зрения на наши дела, и поскольку вы приехали затем, чтобы нам не поверить, а самому во всем удостовериться. Поэтому, попытайтесь, поговорите: в конторе, во дворе, в поле, на собраниях, в колхозных хатах».

«Притом же, говорю, вижу, что не молочных копен у вас много, а зима наступила и рабочих рук много, а работают не все».

«Секрет вот и зарыт в этом месте, тут же его корень, а ветки и ствол—у вас они теперь на глазах».

---

#### IV. ищу „корень“

На этих днях несколько семей выписались из колхоза. Это было вовсе непонятно для меня, и чем настоятельнее и глубже проявлялось мое внимание к делам и настроениям колхозного крестьянства, тем осязательнее выявлялась передо мною картина внутренних противоречий в колхозе, тем больше и больше поражали меня: та скрытая, но пробивающаяся наружу злоба, проявляемая в постоянных нарушениях дисциплины одних, и та любовь, которая крепила колхозную стройку их день ото дня, других, злоба и любовь их фактом своего наличия противостояли друг другу и, разумеется, не могли являть пример нормальной работы. Недоумение мое упрочивалось с каждым случаем. И уже можно было установить, как аксиому, что дело не в мелких организационных неполадках, которые, разумеется, задевают все прослойки колхозного крестьянства, и не могут иметь защиту ни в одной из них, что дело не в недостатках и трудностях, которые для колхозников миновали с уходом лета (плохая еда, отсутствие гужевой силы), а в чем-то другом, более социально-глубоком. Я знал, например, а не только слышал, что колхозники со стажем и просто убежденные колхозники теперь уже питают неприязнь к упорству тех индивидуалов, которые все еще присматриваются к колхозам и в успе-

детелем такого случая. У мужика поломалась ось перед избой колхозника, и он попросил последнего, смотревшего из окна, помочь поднять телегу. Колхозник ответил на это:

«Индивидуальное хозяйство не стоит того, чтобы его устраивать».

Этот и немало подобных случаев легко объяснялись. В ответ на неприязнь к обобществленному хозяйству со стороны индивидуала колхозник ему платит тем же. Разумеется, это явление по сути не политическое, зато легко объяснимо. В колхозе Сталина в резкой и показательной форме противостояли одни слои другим. Задача складывалась так для меня, чтобы разоблачить их социально-бытовую природу. С некоторых пор, ознакомившись с дворами, с полями, да с гумнами, стал я присматриваться зорко к тому, что делается в конторе правления. А делалось там такое, что всего сразу не перескажешь. С раннего утра контора заполнялась колхозным людом. Одни шли к агроному за советом, другие к председателю с жалобами, третьи ко всему правлению с гневом на бригадиров, забывших занести отработанные часы в табель. Находились и такие, что требовали удовлетворения нужд: не было дров, не доставало кирпичей для русской печи, того, сего, мало ли чего. Я видел, что посетители тут не выводились до конца занятий. Все платные члены правления и агроном постоянно были окружены людьми. Тем они разъясняли, этим советовали, следующих убеждали, некоторым приказывали, с избранными спорили, с единицами ругались. Отдельно доставалось им от баб. Бабы в бестолковых требованиях доходили до визга, оглушали всех без разбора, причитали без конца, пускали в обиход слова, выходящие из ряда печатно-воспроизводимых. Артельная контора размещалась в кулацком доме, кирпичном, цвета увядшей зелени. Внизу дома была парткомната и жила в кухне сторожика; а наверху уютилась вся канцелярия на семи сто-

дах. Тут в двух смежных комнатах раздавался неустанно говор, было накурено, стучали костяшками счет, шестелели инструкциями и нередко перекрикивались.

Случилось однажды так: дожидаясь прихода одного из членов правления Лапкина, я сел у окна на место ушедшего канцеляриста и прислушался. Рядом сидел в черной дубленой шубе усатый человек и говорил конторщику:

«Сухопутный гусь, скажу я тебе, плохой гусь. Прежде всего от него пуху меньше, а что касается мяса, то мясо от него невкусное. Лучшим гусем по нашим местам считается Арзамасский, мы его отыскиваем, распространяем среди населения, жаль только, что редко они в руки нам попадают, чертяки».

«Ты сменяй мне на куриц, просит усатого конторщик,—гуси моя слабость, удружи!» Но шуба продолжает возвеличивать прибыльность гусеводства и не внимает словам парня.

«Подбирать гусей надобно умеючи. Непременно, чтобы гусь и гусыня одного были цвета, потому что ежели родятся разных цветов дети, то гусыня не своего цвета детей будет шугать от себя. Видете. Есть гусь черный—есть желтый — Род-Айланд, хвост у него особого свойства—узнаешь из тысячи».

«Дай мне этого или променяй на куриц, а когда у меня будут ротэллановы дети, я тебе отплачу, убей меня бог».

Шуба томит его медлительностью ответа:

«С тобой?»—и он тычет пальцем в середину живота своему собеседнику. «Я?»—и он показывает пальцем на середину своего живота. «Променяться?» Он откидывается на стуле, закатываясь смехом, и усы на лице его прыгают. — «Да ни за какие коврижки».

«Чего тебе стоит из целого стада одного», с безнадежностью в голосе продолжает просить конторщик. Потом спрашивает просто: «Скажи хоть, ты чем их кормишь. Говорят с моченого овса лучше приплод?»

«Рожь, овес—все хорошо,— отвечает Шуба,—когда кормят умеючи. Сухое зерно мало питательно. По себе суди, ежели все на хлебце да на хлебце без чаишка или там без хлеба, получается с желудком что-то несимпатичное, вроде закупорки, что ли. Видишь? Кормят гусей больше проросшим зерном, конечно. Делают этакую этажерочку с несколькими полочками и наставят на полочки моченые зернышки. Они тут и прорастут. Одна полочка доспевает, и скармливаешь, на пустое место сыплешь нового зерна, а к этому времени другая готова, а там третья, а там четвертая — так весь год и происходит круговорот...»

Чтобы передохнуть от сутолки, говора и махорочного дыма, вышел я в сени на холодок. Задняя дверь сеней постоянно была приоткрыта, и на дворе в этот момент увидел я тракториста Ковшова, известного в колхозе балагура и пересмешника, со сподручным своим. Они разбирали на части утомившийся Фордзон и за неимением должных инструментов пускали в ход деревянные волокуши.

«Хвати вот с этой стороны по этой железной штуковине»,—говорил Ковшов подручному, и вслед за его словами слышалось на дворе хлесткое тыпанье дерева о железо. Ковшов лечил машины методами совершенно самостоятельного изобретения.

Вслед за мною из конторы вышли двое мужчин в бурках и в малахаях. Они сошли вниз по нужде, постояли там за тесовой во дворе перегородкой и встали подле дверей в парткомнату, как раз подо мною.

«Теперь им только и осталось речами про гусей услаждаться,—раздался басистый голос,—больно это очевидно, что заживут некоторые из них вовсе по-барски. Рощеным, слышь, зерном следует кормить. Какая новость. Эта новость каждому ведома. Только этот ананас не для нас. А чем вот при нашем положении прокормить. Не только гуся, курицу прокормить достатку не хватает...»



Другой голос, тенорок, подхватил те слова.

«Да, дела. Кому, выходит, «на», кому — нет, политика загибулистая. Чем же коров мы в зиму кормить будем, один пречистый знает...

Услышал я потом вздохи, жалобы, попреки, соленые слова. Соленые слова направлены были по адресу правления — этой «кучки бюрократистов, зажимщиков» и еще каких-то «истов», а работа правленцев была обозвана «самочинством», основанным на кумовстве и явном разделении людей на «овец» и «козлиц». Обиженные эти люди поджидали председателя артели и мне хотелось слышать их разговор с ним, я возвратился в контору, подсел к столу, за которым работают правленцы, и занялся своим делом: глазами читал, а ушами слушал.

Председатель, молодой мужик из бедняков, вел на этот раз разговоры с бабами, их было четыре, они говорили не сразу и не одно и то же. Совместный их диалог приблизительно может быть так представлен:

«Кому пироги да пышки, а нам желваки да шишки. Бригадиры твои, товарищ Романцов, много больно из себя изображают и производят на полях бюрократизм. Сена они навивают из одного стога, а нам, простеющим колхозным работникам, предлагают сено из другого. А мы видим, что не спроста такое предлагают нам твои бригадиры, возможно сено-то не одинаковое и мы хотим и стараемся и просим, чтобы нас в сене всех поровняли — из одного стога всем так из одного, пущай достанется по сенине, да зато будем знать всем столько досталось, правильность в деле соблюдена и на душе будет вполне спокойно».

Председатель не отвечал и не спрашивал, он написал бригадиру записку, в ней обозначено: впредь выдавать всем сено из одного стога, как бабам угодно. Он отдал записку самой крикливой и мало по малу сплыл бабий нахрап, водворилась в конторе тишь, ушам стало вольготнее, но бабы от стола не отходили. Ждал я,

что дальше будет. Вот они меж собою пошептались. И одна из них снова нерешительно заговорила, а председатель устало наклонил голову, приготовясь слушать без конца.

«И притом же, товарищ Романцов, заговорила баба нерешительно, загвозка получается другого сорта. Порассуди-ко. Я, к примеру, за навивку сена должна заплатить, так как выходит, что я по бабьему положению навить большущий воз мочи не имею, а ведь мужики сами себе навивают, свой глаз — алмаз, чужие руки — крюки, и выходит, опять получается не фасон. Кто лучше и больше навьет: сам себе или чужой мне? Сам себе лучше и больше навьет»...

«Вы бы об'единились, бабы, в женские коллективы,— говорит председатель устало,— и по очереди друг дружке навивали бы, как вам нравится».

«Разве баба то сделает, что мужик, где бабе. Баба пятой доли не подымет».

«На весы аптекарские сено, бабы, не развесишь. Сказано по возу на корову сейчас берите, воз воз и есть».

Бабы опять мнутя, опять стихает в конторе, опять шепчутся, но не уходят. Председатель обжидает их, не поднимает головы, говорит он через силу тихо, спокойно, сосредоточенно.

Подходит третья баба к столу: «Вот везде такие у вас нелады».

«А у вас?»—обрывает председатель.

«Ну вот, стало быть, и у нас и у вас».

«То-то».

«Но больше это вас касается, тов. Романцов, вы вроде наставники наши. Я вот все сейчас выложу, я скрывать ничего не умею, я баба откровенная».

«Говори, Авдотья, валяй без стеснения»...

«Как же не рассказать. Неужто утаю. В Янкинстанской экономии на той неделе в пятницу,—начинает докладывать обстоятельная баба,—как бы мне не соврать,

бабыньки, красная корова индивидуальника на гумне колхозный овес ела, долго ела, расшвыряла кучу и, не гоже сказать, о себе память на овсе оставила, разве это порядок, разве такая забота о хлебе позволена, разве не бороться надо с этим. Мы своими глазыньками это видали, я видала, Прасковья видала, Соломонида видала, да все видали. Никак не откажетесь, видали все, они вот тут стояли, видали своими глазами, как корова колхозный овес изничтожила, а караульщика след простыл, караульщик за куревом к шабрам сбежамши. Так к народному добру относятся?»

«Все видали»—кликать начинают бабы, все до единой...

«Кто видал?»—спрашивает председатель.

«Я и она вот...».

«Так какого же ты чорта,—кричит председатель—корове на колхозном гумне гадить позволила. Куда ваше колхозное сознание пропало. Ангел-хранитель ваше добро будет хранить, если сами не ухраните. Вам нянька нужна, ребята малые вы? Да я летун что-ли, чтобы за каждым гумном следить и везде присутствовать. Ну? Корова ест ихний овес, а они смотрят «своими глазыньками», любятя»....

Бабы смолкают вовсе, опять шепчутся меж собою еще тише, а председатель записывает в блокноте сердито.

«Тут сторож приставлен для караула, а мы не были приставлены, —подает голос вдруг одна из них,—он за это труд'единицу получает».

Председатель отворачивается от них. Я вижу тень глубокого нетерпения на лице у него, повидимому, желая предотвратить новую вспышку гнева, он углубляется в чтение написанного им. Непредвиденный груз хозяйственных мелочей заметно виснет на нем и виснет, коллективизация начальным своим этапом изживает самую большую часть мужицких предрассудков, но изживание это приобретается усилиями, трату коих никак представить нельзя. Сталинцы минуют этот этап. Но

отбор людей еще не совсем завершён. Я гляжу — бабы все продолжают стоять на своем — «к чему они не приставлены, так за то не отвечают», они лишь мельком слушают объяснения председателя, который пробует втолковать: все-таки вина не его только в упущениях и не только бригадирова, но и их, колхозниц, вина. Бабы этому не верят.

«Везде непорядки,—продолжают они свое, позапрошлый раз, примерно, лошадь с рожью мешок распорола, опрокинула его на гумне и распорола и принялась рожь есть. Тоже все видали».

«Почему-то белый хлеб делили не между всеми прошлый раз. Кому дали, кому нет. А копирация на всех отпускала печеным».

«Белый хлеб печеный бригадам на молотьбу отдали,—объясняет председатель. Кто работал, тот ел, кто не работал, тот не ел. Вы почему молотить не выходили. Это очень странно».

Бабам нечего сказать, и они, наконец, выходят в коридор, но и там не бросают сетовать на непорядки, слышны их слова «кому дают, кому нет», и опять рассказывают они в сотый раз встречным про корову, растрепавшую овсяные скирды, про лошадь, разорвавшую мешок с житом, и это все они «своими глазыньками видали и Матрена видала, Соломонида видала, и Прасковья видала и все, все, — хочу побожусь икону сниму да поцелую».

Председатель пояснил мне: подобные канительщицы из породы тех, которые не являются радетелями за колхоз, из Починковской экономии они, мужья их перебиваются ремеслом, а семьи таких на колхоз глядят, как на кооперативную лавочку, получил свое и прощай она до следующего раза, все они того же духа, как вот эти, дожидаящиеся архаровцы. Он указал как раз на тех двух мужчин, речь которых я слышал в сенях стоя. Председатель, отговорившись занятостью, прошел мимо них, указав на входящего Лапкина, который его

заменит. Лапкин—молодой партиец, член правления, в ведении которого находилась культурно-бытовая работа колхоза, был ими мгновенно атакован. Повидимому он тоже о них имел свое суждение прочное, давно сложившееся, потому что он отвечал им не в тоне дружелюбия, который был принят у членов правления с истинными колхозниками. Они уходили за ним от стола к столу, и говорили приблизительно так:

«Мы тоже колхозники, заявления о вступлении подавали и вообще. Но видим, нам привету от правления не оказывается. У вас видно тут сынки да пасынки. Это не больно коммунистично. Наши коровы тоже сена хотят».

«Что касается пасынков, то вы на редкость этот раз верно выразились,—отвечал им Лапкин,—какая может быть тому ласка, который от матери сам бежит. Переходи же в разряд «сынков», вам путь не заказан».

«А мы разве знали, что надо отчисления платить».

Лапкин вынул книгу и показал отметки в ней — один из них в весеннем месяце сделал отчисления в колхоз, а про остальное «забыл».

«Притом же, было у нас напоминание в мае всем вам,—говорит Лапкин,—каждый, кто думал от колхоза по твердым ценам хлеб и фураж получать для личного скота, должен был давать своевременные отчисления из своей зарплаты, а членов семьи посылать на работу».

Служащие как-то невнятно бормочут, а Лапкин вынимает списки новые и вычитывает: все служащие, вошедшие в колхоз и давшие своевременно отчисления, получили уже сено для скота и хлеб для себя.

Они не топчутся, как это делали бабы, они даже не перечат Лапкину, ропот их раздается только после того, как они выходят за дверь в соседнюю комнату. Наверно, они ругают «бюрократистов» и «зажимщиков».

Я прошу Лапкина рассказать мне все по порядку—чего им надо этим и почему они «пасынки».

«Это не «пасынки», а «маменькины сынки», служащие из Коннозаводской слободы,—говорит он. Лето они работали в совхозе, гнали деньги, семей своих в колхоз не пускали или пускали только проделать в поле променаж перед обедом, не верили в колхозное дело, не отчисляли процентов с заработка в колхозную кассу, как это положено уставом, в колхоз вступили единственно думая приобрести даровой хлеб и сено, а когда пришла осень и увидели они, что и хлеб и сено у колхоза появились вопреки их неверию, они все (много таких) стали осаждать правление с требованиями своей доли, Разумеется, никакой их «доли» не могло быть в колхозе и они получили «от ворот поворот».

Для меня становится ясной эта сторона дела, служащие и в других колхозах являются предметом организационных выводов и протокольных записей. И то, что целый такой пласт почти вовсе не участвовал в стройке колхоза, это тоже уяснимо и объяснимо. Почему же тогда Починковской экономии крестьяне на поля не ходили?—новая мысль встает колом.

«Тут тоже есть своя заковыка,—отвечает Лапкин,— весь секрет такого дела в отношении починковцев зарыт в ином. Вот скоро будет собрание в Починковской экономии, вам следует побывать и насчет этого померекать, там самый большой процент прогульщиков и недовольных. И когда вы к ним приглядитесь, то увидите, что, примерно, тагаевцы, которые до скончания века будут наши, и починковцы, которые все время лихорадят колхоз и саботажничают, — по существу вовсе разные люди».

---

## V. вовсе разные люди

Собрание созывалось вечером в с/совете—обширном здании со скамьями посередь пола и железной огромной печкой у стены, колхозники собирались медля, а приспели дела неминучие—смотр состава крестьян починковской экономии, работы их и настроений. Починковцы населяли середку села, улица их начиналась от площади и шла далеко струной к овражным окраинам. Починковцы—самый неисправимый по дисциплине народ, с которым бьются все лето,—так следует охарактеризовать их, не сопричисляя сюда бедняцко-середняцкий актив, очень немногочисленный, но крепкий. Треть починковцев к этому времени вовсе прекратила выходить на молотьбу, а другие, те разносили жалобы на колхоз, следовало же отсюда только одно—починковцы показали пример, как не надо работать <sup>1)</sup>).

Они приходили на поля, отбывали часы, записывали их в табель у бригадира и стправлялись, успокоенные,

---

<sup>1)</sup> Разъяснение: под званием «починковцы» в книге подводятся только члены одной починковской экономии. Когда речь идет о колхозниках гиганта в целом, употреблено здесь особое слово: «сталинцы». Эти понятия различать надо потому, что «починковцы»—часть «сталинцев»—колхозников и притом самая худшая часть. Смешение этих понятий повело бы к неясностям написанного для читателя, к несправедливости по отношению к «сталинцам», к погрешностям против фактов самого пишущего. Автор.

по домам. Встал перед правлением угрожающий вопрос: ввести вместо труд'единиц сдельщину.

Плата предполагалась за каждый намолоченный пуд зерна три фунта его. Подсчеты показали—это выгоднее для работающих и полезнее для общего хода артельных успехов. Заработок натурою повышался до трех, четырех пудов в день на прилежного работника, заработок стимулировал каждого и давал артели экономию при расплате, ибо расчеты складывались так, что в одну единицу времени намолачивалось зерна больше по сравнению с тем, если бы оплата труда была прежней. Этим же преследовалась цель — привлечь внимание и тех, которые на гумна ходили редко.

Созыв колхозников, меж тем, затягивался очень, поднялся ропот среди пришедших, я видел — в углу тревожно перешептывался артельный актив с председателем правления и уполномоченным экономии. Слышны были слова: «Пора бы», «какого пса обжидаем», «довольно, долго волюнимся» и другое. Я сел на дрова промеж двух баб подле печки. Тут было темнее и росло бабье сборище, всегда обильное непосредственными высказываниями. Возле меня притулилась баба в казиретовой шубе, полноликая, тихая говорунья.

«Никакого порядку нету в общей работе, говорила она, примите во внимание, кто ходит работать, а кто нет. Валится дело и валится. Так ли в хороших семьях работу бывало вели при управителе дому всему и радете ле хозяйству».

«Исключить, гражданка, тех, кто шалаберничает, говорю я, проникаясь сочувствием к ее заботам. До каких пор разводить будете с ними фигли-мигли».

Шаркнула она лаптем по поленьям, видно, зябко ногам было, и поперечила тихо:

«От этого, парень, мало толку. Опять ярмом на плечи работающим это ляжет».

«Какой в этом резон,—отвечаю я, недоумеваю,—больше вам-старателям достанется».



Она замолкает и переглядывается позадь моей спины с другой бабой.

«Трудно доводится на колхозной-то работе, коли ходят не все. Мы ведь свое-то, парень, так не работали, мы все исподволь.....»

«Так ведь кто ж тебя в колхозе заставит через силу натужиться, опять я удивляюсь, коли трудно, приустила, возьми да отдохни, пропадут только тут твои труд'единицы».

Недоумение мое растет, я не могу уловить ее настроения.

«Это положим так, соглашается она вдруг, можешь идти на поле, можешь не идти.....».

Я еще больше недоумеваю.

«На своем поле, бывало, что не наработаешь—все твое. А тут гляди из чужих рук».

«Но ведь работаешь не даром?»

Оплачивают работу? Дают?».

«Дают кому, а кому нет».

«Кому не дают?—спрашиваю я серьезно. Не понимаю, кому не оплачивают труд, кому не дают»,—говорю еще громче.

Меня разбирает нетерпение. Пытаясь разгадать причину ее тревоги, я наседаю на нее, а она молчит, сопя носом.

«Не дают тому, раздается голос сочный и энергичный, кто не ходит на работу, да разводит антиколхозию. А кто каждый день на гумнах, тому дают, у того высокая выработка и в сусеке много добренького. Дают тому, кто от работы не отхлынивает».....

Слюна брызжет у ней изо рта. В молескиновом легком одеяньи, из-под которого торчит ситцевая латаная на грудях кофтенка, угадываю беднячку. Она поднялась с колен, таким манером она сидела, обжидая собрания, поднялась и стала грозиться.

«Они раньше не шли работать—всякие эти люди, а теперь саботируют, видят, что ихние мечты не оправдались—сумели управиться мы и хлеб делим и того,

что они говорили, что весь хлеб отберут у нас, того не получилось. Так они теперь, когда у нас в поле еще много стогов хлеба, вовсе не ходят на молотьбу, де-глядите, люди добрые, глядите, люди добрые, до каких времен колхозники молотьбу довели. Достаточно кутили-мутили, не будет этого, стукнула она рукой по скамье, не допустит этого бедняцкая рука. Всех пропустим через триер и оставим в колхозе отборное зерно».

Моя соседка уткнулась подбородком себе в воротник шубы, отвернувшись от той, надулась. А та говорит много, грозно, ругательски, всю душу выкладывая на общее обозрение.

«Работай пожалуй, говорит моя соседка тихо своей соседке, пресвятая богородица, ясный свет земной, с этими машинами работы больше вдвое. Если, бывало, мы свое работали, то когда хотели, тогда и отдыхали».

«А разве сейчас не когда хотите отдыхаете? опять спрашиваю я, и разве от того, что вы проработали лишку не растут ваши труд'единицы». Опять молчит моя соседка, и не понимаю я никак, чего она хочет.

«Есть люди, кричит баба в молескиновом одеяньи, которые сами себе не разумеют и толку от них для общего дела ни на маково зернышко. Даже дела наши они к развалке ведут. Мы знаем их — этих людей. Волки они — шкура у них овечья, а душа человечья. Мы всех таких ловить будем. Ловить будем и под карандаш. Говорит ежели что несообразно — стоп ее, что говоришь матушка, на чью руку тянешь, для какого антиресу вьешься ужом, топорщишься ежом, имя твое и фамилия и отчество записано, под одно место тебя, откуда ноги растут, коленкой и марш на все четыре стороны».

Соседка моя поворачивается от бабы, приближает лицо свое ближе к моему. Я вижу ее смиренный взгляд.

«К тому же и то надо взять в разум, сознательный товарищ, кабы порядок был, другое бы дело, а в ком совести ежели нет, ничего с ним не поделаешь. Развинулся народ, изохальничался каждый из молодых не-

послух, а ведь сказано — смирением мир стоит. Кичение губит (она косит глаза в сторону разнотрениной беднячки в молескиновом одеянии). Ой как губит, смирение же пользует. Смирение есть богу угождение, уму просвещение, душе спасенье, дому благословенье, людям утешение».....

Ту, бабу в молескиновом, осуждают девки и подруги из пожилых, приводят доводы неорганизованности в работе. Вот запишут в табелях трудень, а приходит время распределению — дней оказывается меньше выработанного. Каждый день месяца некоторые выходили на работу, 30 труд'единиц не получилось. Баба в молескиновом объясняет, что де «это вот какой резен, бабоньки, меня на этом саму грех попутал. В сентябре выходила каждый день на молотьбу, а пришло время расчета, выработанных оказалось семнадцать только дней. А потому все, что мы плохо уставы знаем и ерепимся, бунтуем. Считается рабочих десять часов, а мы проработаем шесть-семь и уходим, вот оно при подсчете — пробелы эти оказываются».

Мне интересно вызнать — кто она такая, я спрашиваю соседку о ней:

«Мосева Дарья это. Известно кто, бригадир нашей экономии, — говорит соседка невесело, — партийная»...

«У тебя семья есть, Мосева?», — оживляюсь я.

«У меня пятеро, а старшему седьмой год. Инвалид у меня муж. Я всех их единая кормилица, — говорит она тише, спокойнее. — Муж мой фамилию Яблоновского носит, но я его фамилию переменяла на свою, Мосев он стал».

«Почему так?»

«Как почему? Яблоновский, это вроде поповского фамилия — Иорданского, Никольского, Рождественского, это нам не фасон. Мы — трудовая и бедняцкая масса. Тут я смекнула сразу и пошли мы с ним списываться, недавно переменяли».

«Пятеро детей, а недавно регистрировались»... — смеются девки.

«По дружбе, без церковного и без всяких записей жили, — чему тут хахалиться. Во. Приданого у меня было столь же, сколько у него. А у него все именье — голик лесу да кузов земли. Одной доводится работать. А работаю как. Хлеше мужика. Не всяк голова, у кого борода. Мы все бедняцкая масса Починковской экономии — в холоде, руки досиня обмерзнут, руки делаются как крюки».

Тут, воспользовавшись обмолвкой Мосевой, соседка моя и прочие бабы подняли голос:

«Без обуви молотили, на сенокос итти лаптей не было, босые ходили. ноги в кровь драли, почивали в поле под рогожами. Дрожмя-дрожали. Ноги-то пообтрескались все. цыпки на них образовались, кровь пошла, вот какая колхозная работа»...

Я говорю, обращаясь к Мосевой, пытаюсь говорить спокойно, это плохо удается.

«Когда вы жали свои полосы, каждая свою, то вставали с зарей и ложились с зарей, а ели хлеб да картошку, ходили всегда босыми и цыпки на ногах ваших все лето не переводились. И никогда никому вы не жаловались на это. Наоборот, каждая находила это вполне естественным и даже без ропота все переносила, а когда кто другой шел на жнитво в полусапожках, то вы все, настоящие бедняцкие труженицы, осмеивали таких щеголих... А разве редко вы рожали на жнитве, брали туда детей, разве редко? В колхозе же у вас ясли были и общественное питание, ели мясо, одевались кулацкими тулупами, хлеб убирали вам жатками. Но сейчас каждая несет упрек, потому что это колхозное. не было бы этого ропота, ежели бы работали на своей полосе».

Мосева складывает руки на животе и смущенно улыбается:

«Эдак, товарищ, эдак. Звиняюсь»...

«Так то же на своей полосе», — недоумевают моя соседка.

«А это не своя? — опять в прежнем тоне начинает говорить Мосева, — это не ваше? Вот они... недоброхоты».

Председатель артели наводит, наконец, тишину. Он прилбижается к столу и стоя начинает говорить. Выясняется, что явился на собрание только актив работников по преимуществу, что те, кто летом не работал, тот опять же не пришел, а между тем, собрание для них созывалось что умысел их—этой определенно выявленной прослойки починковцев,—ясен, и что с ними истинные колхозники не будут церемониться, что правление предлагает членам обсудить переход на сдельщину, подумать и сказать об этом через представителей, что ставка делается на настоящего труженика, а не на испорченного торгашеством отщепенца. Во время речи соседка моя пятится к двери и уходит. Собрание гулом одобрило сдельщину. Мы выходим, меня дергает Мосева за рукав:

«Видишь, сразу отличишь их от нас. С тобой сидела ведь явственная женщина, первая всяким злыдням заводчица, коренная саботажница и дезертирка. За все лето она двадцать дней работала, а крику у ней на тех, кто порядок нарушает, больше всех. Разузнай, попробуй. Все лето всей семьей сидели дома. Муж у ней и двое сыновей взрослых, а отработали двадцать дней—они сапожники, они сапожным мастерством думали больше добыть и на колхоз плевали, как многие из нашей экономии подобные типы, и думали: чего, мол, выработаем, а ихнее не оправдалось, это коренные дезертиры. Знаешь ли, что они говорят единоличникам? — Не вступайте в колхоз, вот мы годок пробудем в нем, развалим его и возвратимся к вам. О, этого не получится. Нас, колхозных боевиков, целая армия».

Дело словно как проясняется. Члены Починковской экономии связаны с базаром, с ремеслом и в большей части землей издавна не интересовались, не всамделешные они и теперь крестьяне. Отсюда проистекают все напасти. Так после ознакомления с людьми тех колхозных слобод и входящих в колхоз поселков я вынес полное о них впечатление, разгадав многое в их настро-

ениях, которые ранее представлялись мне трудно разрешимыми. Так освобождался я от многих недоумений.

Но я, кажется, забегаю вперед, нарушая естественный ход повествования.

Починковцы представляли тот слой крестьянства, который, пользуясь близостью базара и наплывом людей на нем, привыкает к даровой жизни. При этом разе возникают всякие возможности. В четверг на двор к себе подводу пускает починковец, ночлег дает кому придется, квартиры предоставляет приезжающим по районным делам, или командированных краем берет на столованье, но больше всего починковцу дает базар, базар—пристанище его помышлений и надежд, базар и по сие время в районе многолюден, скотообилен и боек.

Глядишь, починковец поставит самоварчик мужичкам, справляющим магарычи при покупке чего-либо, при продаже или перепродаже, поставит самоварчик, да огурчиков соленых, или там грибков для стола приспособит, этим и кормится. Иные продают на рынке шушер-мушер, купят старые штаны, примерно, отгладят их, заштопают и перепродают, или бывает, торгуют печенкой с руки, кустарными пряниками, или чем другим по мелочи. А больше всего шинкарством промышляют починковцы. Базарными днями такой у мужиков спрос на водку и такая давка у лавки госспирта, что приезжим крестьянам исхитряются починковцы продавать добытую водку втридорога. Я заметил, как моя хозяйка уставляла литровками пол под своей кроватью к каждому четвергу; на другой день в пятницу ни одной не оставалось у ней литровки, которая пустой бы не оказывалась. В кухне постоянно толпились люди — «закладывали», «заряжались», «опрокидывали баночки». Хозяин за то, что он «хозяин», тоже «опрокидывал» и «закладывал», и так с этих самых «баночек» нагружался, что жена и две дочери, при помощи нас, квартирантов, с трудом поднимали его мертвецки пьяное тело на печку. Большой процент починковцев занимался ремесленничеством. Валяли сапоги, портняжничали

ли, делали шапки, картузы, они сбывали это на базарах и привыкли дорожить своим ремеслом больше, чем работой в колхозе. Все они имели землю, но сами ее не обрабатывали, большинство с испокон века сдавали землю исполу лошадникам. А последних оказывалось немного. Из 480 семей кормятся землей 140. Естественно, что классовая борьба всего сильнее развита была в этой экономии, торгашеский дух, базарная психология которой ставила палки в колхозные колеса и вынуждала правление пересмотреть состав починковцем заново.

Образцом жизни и сходным с починковцами отношением к колхозной работе отличалась также коннозаводская слобода. Слобода эта расположилась прямым углом подле Госконзавода (сейчас «Коннозаводческого совхоза»), квадрат его построек окружен каменной стеной с вышками, крашеной в розовое. Кабы не было этого завода, в котором двести пятьдесят племенных производителей-брабансонов, слободка эта ничем бы не отличалась от любого дачного поселка при городе. Тут обилие зелени летами, деревья посажены со вкусом. И не простая корявая ветла украшает слободу—не белоствольная даже береза—нет, сосны и тополя, и еще больше—акация выращиваются тут в палисадниках.

Самые дома проулочками отделены один от другого, дома широкие, приземистые, деревянные, пятистенные, крашеные, одно слово—дачная усадьба и прибежище покоя, располагающее жителей к чаю, кулебякам и велеречию с ватрушками. Каждый дом с сенями глухими, с крыльчиком, с терраской в палисадник, а палисадник в этих местах обязательная принадлежность каждого дома. В палисадниках скамеечки, сосенки, акации, аллеечки. Когда я ходил с агрономом по улицам этой слободы, то он заметил: «Фривольное житьишко. Живут тут попечительные хозяева—люди осторожные, хорошие сердцем, по замыслам острожные»...

Внутри домов чистые комнатки мещанского убранства. Кровати с перинами, с уймой подушек, упирающихся в потолок, на окнах герань, фукция, майская

крапива, у передней на столике машинка Зингер, стены оклеены обоями, на стенах фотографические карточки со всех членов семьи в разных видах и с сонмом теток, золовок, снох, зятьев и прочих сородичей. Они в новых костюмах, с цветами в руках или с мандолинами, или с гитарами. Из портретов устроены веерные группы, шарообразные фигуры и всякие прочие выкрутасы «по-красивше». Столик на переднем плане с гипсовыми кошечками, с копилками, улыбающимися ангелочками, среди коих непременно засунут дешевый бюст Ленина. Иконы в домах на самых невидных местах: отца Серафима—крошечный образок увидишь под белой накидкой кровати, распятого Иисуса на комодe, среди посуды, Неопалимую купину в кухне, в почернелом углу. Предосторожность—понятна, тут все учреждения. Посередь слободы—широкий луг. Слобода примыкает к селу через улочку, которая с ней рядом, но вовсе другая: грязь там, строения хуже, словом, начинается чисто крестьянская сторона. Коннозаводская слобода—поставщица служащих во все учреждения села. Земля у них является предметом приработка. Такие люди, разумеется, не могли быть надеждой колхоза.

Починковцы с коннозаводцами и составляют тот пласт крестьянства, который в колхоз принес с собою изрядно всякой мути. Этот пласт одобрен людьми торговашеской складки, что не умеют взяться за косу и за плуг, что привыкли частично к ремеслу, частично к службе, частично к отхожему промыслу. Им противостоит основной, по-настоящему колхозный и наиболее многочисленный пласт крестьян—истых хлеборобов, которые в Сталинский гигант вступили уже бывалыми колхозниками и вся опора у которых—хлеборобство. Это жители тех селений, которые расположены близ села Починок и рядом с Починками—тагаевцы, янкинстанцы, березенцы и др.

Небольшой, в три порядка поселок, — вот что представляет Тагаево. Два порядка идут друг другу параллельно, а третий под прямым углом одному из



них, расположившись вдоль дороги. Стоит этот поселок — сплошь колхозный (с 28 года — колхозный), на ровном месте среди полей. Стоит он тут всего два года. Сюда выселилась на колхозный отруб предприимчивая беднота из ближайшего села Тагаевского.

Стала артель «Восход», присоединившаяся потом к гиганту Сталина. Кроме домов ничего в поселке нету. Ни прута насаждений, ни садов, ни ветел. Домики друг от дружки на значительном расстоянии, по уставу строительства последних лет, с широкими усадями. Усады с огородами без изгородей. Печать переселенчества лежит целиком на этом поселке. Домики почти все одинаковые. Тут бывшая беднота, да маломошное середнячество. Избушки трехконные, четырехконные, если и встречаются, то четвертое окно не по лицу, а боковое. Небольшие дворики. Постройки хранят печать ремонта, вот сразу видишь свежие бревна в них—вставыши, заплаты на крышах, приделы сеней и наново из старого материала сколоченные сенцы. Только конский двор, стоящий слегка на отшибе—новый, около него стоят телеги. Характерное упущение в деревенском пейзаже улицы этой: у изб нет телег, не валяются разбитые колеса у заборов, не висит упряжь на раскрытых воротах, точно тут все бобыли, безлошадный, бесхребетный в крестьянском смысле народ. Нет, тут не безлошадники, не бесхребетники, народ тут колхозники, у которых лошади и всякая к ним принадлежность хранится в общем дворе, о котором только-что сказано.

В избах у тагаевцев никаких нет украшений, разве девушка повесит простенькие коленкоровые на окна занавески, обоев тоже нет в домах, картинок там или каких безделушек. По внешнему виду судя, нельзя как-будто помышлять, что тут живут интересы к советской культуре. А меж тем крестьяне этого невзрачного поселка, не в пример починковцам и коннозаводцам, с их тюлевыми занавесками, горками копилками на горках—все грамотны, часть молодежи проводит вечера на рабфаке, все читают газеты и все выписывают газе-

ты. Выписывают и журналы. Никаких икон в избах нет. В церковь никто не ходит. Никто не молится. Не крестит ребят.

Являя собою несомненно передовой отряд колхозных тружеников, прилагающих силы на полях, получающих самые высокие цифры оплаты, при распределении дающих образцы неподдельной заинтересованности в коллективном труде—тагаевцы полюсно противоположны починковцам—свежее, упроченное и родное явление новой деревни.

Так разнолико население Сталинского гиганта.

И каждому резко бросается в глаза: кто ближе к базару и торговле—тот малоценнее в артели. Кто издревле хлебороб и далек от всего того, тот надежнее в колхозной стройке. Такими и являются тагаевцы, а также янкин-станции и др.

В Сталинском гиганте, в основу разделения убежденных от колеблющихся смело может быть положен территориальный принцип. Кто вне районного села и дальше от центра колхоза, ближе сутью к нему. Кто в самом районном селе и территориально ближе к центру колхоза и к базарной площади—тот дальше от колхоза помыслами и делами. Конечно, в живой действительности все многообразнее, и несомненный постепенный переход имеется от тагаевца до починковца. Основное население в колхозе крестьянское, колхозное, прочное в своих делах, с трудом самоочищающееся от сорняка и вредителя, каковые в поле выпальваются, а из крестьянских колхозов изгоняются. Последнее к несчастью плохо и редко практиковалось сталинцами.

---

## VI. кто просчитался и кто нет

Рождение артели приурочивать положено к началу нового года—тридцатого. В те времена из райкома стали выезжать в мелкие колхозы и к единоличникам тоже с пропагандой идеи объединения всех в крупный колхоз. Тагаевцы, примерно, вначале противились этому, у них был трактор, слаженное хозяйство, они опасались за его исход, но от обсуждения вопроса не воздержались. Янкин-станское руководство колхоза сконфузило себя перед этим пропажей керосина, отпускаемого на колхозные нужды, руководителей отдали под суд, а колхозники высказали желание предложения райкома «обмозговать».

Все складывалось так: население колхозное и неколхозное выбрало уполномоченных по одному от десятка и послало их на общее собрание, которое идею гиганта организационно закрепило. Вскоре избрано было правление гиганта. Для присмотра за колхозным хозяйством того времени требовалось знание сотен мелочей хозяйства и меткий глаз на них.

Требовался подходящий председатель. Окончательный выбор райкома пал на бедняка Романцева из местных. Весну колхоз переживал приливы и отливы, не обошлось тут без увлечений, хотели сделать весь район сплошным. Сохранился протокол собрания, на котором тракторист Сталинского гиганта, Ковшов Виктор, делал

о сплошной коллективизации доклад и во что бы то ни стало пытался вовлечь в колхоз и ту часть населения, которая в антиколхозных решениях своих упорствовала.

«Слушали,—записано в протоколе,—о сплошной коллективизации поселка». А постановили вот что. «Если городу нужно как например, сырье, а по случаю мелкого хозяйства не можем дать, а этим наш недостаток срывает наш план, который намечен и много других причин. Дальше я коснусь причин коллективизации, этот вопрос возник потому, что нам необходимо нужно поднять свое хозяйство. Выход один—это сплошная коллективизация. Хотя нам и мешает кулак и другие противники, но мы должны дать им отпор и бороться против кулаков. Если мы видим, что колхоз нам выгоден, то давайте, граждане, взойдем в колхоз. Нам бояться нечего. Товарищи, нам нечего бояться по уходу детей, нам гораздо лучше будет уход за детьми, не как за ними ухаживает мать, у которой делов много. А поэтому в колхозе гораздо уход за детьми будет лучше и нам нечего бояться. Насчет кулачества вопрос решен, что выгнать его за пределы нашего союза» и т. д. (8, февраль, 1930 г. Протокол общего собрания граждан поселка Янкин-Стан).

После статьи товарища Сталина получился отлив всех, случайно попавших в колхозы, а оставшиеся закрепились. Починки имели сильный кулацкий слой. Составляли его торговцы, владельцы мастерских, земельных угодий; всего раскулачено по селу 250 человек. Базарная нажива увлекала и середняка, кулацкие слухи имели здесь почву благоприятную — не обошлось без разбазаривания скотины. Разбазаривание и убой начались тотчас же при вступлении в колхоз. Партактив, совместно с правлением, на собрании провели тогда решение: «Ничего не продавать и не уничтожать без разрешения правления, в противном случае будут приняты меры вплоть до самого исключения» (протокол собрания колхоза от 19 января 1930 г.).

Были попытки со стороны вступивших в колхоз обойти это решение ссылками на нужду, которая якобы гнала продавать скотину.

Уваров Федор, примерно, вступая в артель, пишет: «...причем прошу выдать мне 50% стоимости лошади, так как мне в скором времени необходим ремонт русской печи», или Данильцев Андрей: «ввиду того, что у меня дом развалился, и я хочу строиться, то и прошу артель разрешить мне продать одну лошадь».

Заявления в артель писались на курительной бумаге, на листках численника, на обложках ученических тетрадей, на красных, желтых клочках цветной бумаги, случайно найденных. Судя по количеству скота и качеству инвентаря вступивших — это бедняки по преимуществу. Середняков, тем более зажиточных, которые бы при вступлении обобществляли двух лошадей или двух коров, очень оказалось мало. Бедняков однолошадников или однокоровников близ половины в колхозе. Бедняцких семей 481. Это и содействовало той артельной живучести, которая проявлена была в те моменты, когда служащие, ремесленники и зажиточное середнячество колхоз забыли. Как и везде, при организации Сталинского колхоза большие получили расколы в семьях. Случалось так: муж идет, а жена противится, дети тянут в колхоз, родители не хотят. Мне довелось, просматривая кучу заявлений, встречать из них такие, в которых говорилось, к примеру, как два брата уходили от отца, взяв с него свой надел и передав его колхозу. Дело доходило до того в семейных разногласиях, что один партиец, у которого жена никак в колхоз не хотела идти, ночью увел со своего двора корову и передал ее артели. Только оставшись без коровы, жена переменяла решение. Надо сказать, что столь крутой переход к жизни по другому не смог не породить массу всяких кривотолков и курьезов. Одна ярая колхозница молилась, прося бога, чтоб он не давал дождя на поля единоличников, а то рассказывают такой случай из жизни бабы религиозной, которая бросила ре-

лигию, как только взошли овсы. Сын написал из Красной армии ей письмо, в нем непромедлительно вступить предлагал в Сталинский колхоз. Вот она вступила в колхоз, а ей сказали, что-де в пятницу на страстной неделе будет пришествие антихриста. Баба была чрезвычайно богочтива и богомольна. Брожение среди религиозников было столь сильное, что она делала то же, что и все в это время, заражаясь страхами. Перед пятницей она приготовилась к приходу антихриста, зажгла лампадку и легла в новой одежде в красный угол под иконы. Молва была такая, что колхозников антихрист побьет, а неколхозников оставит. Баба приготовилась быть убитой и думала умереть с богом на устах, искупая грехи колхозные. Баба пролежала всю пятницу под иконой, ничего не случилось с ней, антихрист не явился. Тогда молва поправила ошибку. Де-антихрист не пришел, но он дал знамение: после фоминой недели колхозная часть села должна провалиться, а неколхозная останется, как ни в чем не бывало. Смятение наступило очень великое. Неколхозники принимали пожитки колхозных родственников и сохраняли их в доме в те дни, в которые ожидали провала. Но провала тоже не последовало.

Появилась новая разновидность пророчества — колхозные овсы, посеянные с пением бесовых песен, должны сгнубуть. Пришло время, баба—мать красноармейца, вышла в поле и увидела, что овсы единоличников не взошли, а овсы колхозников были густые как щетка и пышно кудрявились. С той поры бросила ходить баба в церковь, а сейчас активная безбожница. Вообще, в те времена крутых переломов страхи нагонялись противниками колхозной жизни даже на крепких в своем практицизме и неверии середняков. Баб мутили вещами по-проще и потаинственнее, связанными с нечистью и богом. Мужикам выпекали легенды, увязанные с политической советской и компартии. В одно, примерно, время распространено было мнение, что некая тетка Акулина, богомольная бабка, сама «своими глазыньками» видела,

как накануне безобожного первого мая шли два человека—коммуниста—по мосту, и как налетел на них «вихорь, неизвестно откуда взявшийся, и одного сбросил с моста в реку, другого уронил на месте, головой брякнув о перила». Те, кому довелось проверить факты, подтвердили, что на мосту люди действительно накануне первого мая падали и на самом деле расшибались головами о перила, но то были два друга вовсе не коммунисты, вовсе не колхозники, а от мастерового дела собутыльники, и падали они по причине того, что были «хватимши».

Середняков, из мужицкой части, этим, разумеется, не могли обморочить, для них были, как уже говорилось, другие испечены истории. Мне довелось, беседуя с единоличником, спросить его:

«Как же ты смотришь, от души говоря, на Сталинский колхоз?»

«Я смотрю, от души говоря, на колхоз положительно, товарищ. А не вступил в него единственно из боязни печати!»

«Какой такой печати?»

«Сейчас смешно вспомнить это, но хвакт, испугался печати...».

И он рассказал такое. Один из колхозников, будучи в совете, баловал печатью и приложил ее себе на руку. И показал это единоличникам шутя: «Клеймят нашего брата».

Смятенье было столь неожиданно, дум было так много в мужицких головах, что некоторые этому поверили, поверив испугались предполагаемого клеймения, перепугавшись стали верить всякому другому вздору про колхозы: там и в банях-то будут все вместе мыться, и по норме-то хлеб получать, куриц отберут, бороды остригут, детей «обасурманят», и середняк, рассказчик мой, воздержался, в колхоз не вступил. Осенью все враки сами свое лицо показали.

Кулаки села пробовали попрыгать свое имущество. Это многим удавалась. Есть в Починках Мокрая улица

на самой окраине—улица очень знакомая уголрозыску, там притон воров и бандитов, которые когда-то очень развелись в районе, да и теперь иногда дают себя знать. При отправлениях служебных обязанностей инспектор уголрозыска натыкался на такие явления: в комнате бедняка, понимать которого надо так, что он не осознал своих классовых интересов, вдруг обнаруживал прекрасную мягкую мебель и сундуки, полные кусков сукна, сатина и шелка, а то один раз обнаружил целый магазинчик суконных одежд. Дело выяснилось таким образом: кулаки и торговцы, за изрядную долю сохраняемого, отправляли свое добро к бедняку, полагаясь на неосведомленность адмотдела. Но адмотдел в Починках стоит на первом месте в крае по постановке секретной части и по работе своей.

Однажды, дело было днем, мы проехали уже Мокрую улицу и оказались в поле, инспектор уголрозыска тов. Золин ехал со мной на молотьбу, чтобы фотографировать процессы труда; ехали мы и разговаривали про его работу. Я только-что просмотрел у него коллекцию всяких орудий, которыми оперировали банды в районе. Орудия были развешены по стенам его кабинета и чего только тут не было: лом, своеобразные кузнечной работы отмычки, которыми отпирали незатейливые крестьянские замки у амбаров, винтовочные обрезы, которые вполне умещались в пазухе преступника, фитиля, которыми поджигали, шуллерские карты, посредством которых обирали доверчивых пареньков на крестьянских базарах и в притонах, тут были ручные гранаты, чугунные перчатки, которыми бьют по головам бандиты прохожего из-за угла, кистени и маленькие дробовки и наганы с самодельными пулями-зарядами, тут были деревянные приспособленьица, симулирующие штемпеля и печати, хулиганские трости и много всяких специальных вещей, ведомых только самому товарищу Золину. Я высказал опасение, что с таким вооружением, как граната, бандит многое может сделать, а товарищ Золин на это сказал вроде того, что явные бандиты не так



опасны, как гайные злоумышленники и вредители, и между прочим, тут мы с ним и разговорились про качество, исхитрявшееся в свое время так, что иной раз вовсе трудно было узнать, все ли у него конфисковано или только половина. Он рассказывал, как иногда, после того как кулак раскулачен был целиком, приходилось адмотделу обнаруживать через несколько дней после факта раскулачивания в доме кулака такое же наличие одежды, кусков мануфактуры и пр. И даже скот мгновенно появлялся на дворах в количестве, равном конфискованному.

«Как же это получалось?—спросил я,—платье и тулупы и серебро столовое можно еще припрятать, но как овец припрятать, телок припрятать?» В то время мы ехали, повторяю, полями, навстречу нам попадались подводы, груженные скотом, завтра должен быть базар. Связанные овцы лежали черными пухлыми комами в санях вместе с бабами и хозяевами, привязанные за рога коровы шли за подводами, опустивши головы к низу.

«Мужика перехитрить—очень это трудное дело,—сказал инспектор уголрозыска, — но перехитрить адмотдел еще труднее. Дело складывалось так. Дошел до меня слух, что некий малосознательный бедняк стал мясное хлебово есть чуть ли не каждый день, а скотина у него не убывалась. Наведался я один раз в совет и полюбопытствовал, какая рогатая скотина у того бедняка по сельским спискам числится. Дознание это, установленное в совете, подтвердило, что кроме трех овец и коровы у него никогда ничего не было. Тогда смело пришел я к бедняку, порылся в хлеву у него и нашел тринадцать овец, в конюшне кроме коровы еще быка, потом две кадки соленого мяса да шкур овечьих—пять счетом. Спрашиваю мужика, откуда столько скотины. «Моя», говорит. «Как же, говорю, было три овцы взрослых, стало тринадцать?» «Овцы, говорит, ягнятся и растут, как люди, ничего тут нет удивительного».

«Если, говорю, удивительного в этом мало, то объясни пожалуйста как не дивиться мне тому, что у тебя бык вырос на дворе, как плесень, неизвестно по какой причине». «Бык мой тоже». «А мясо откуда в кадках?» «Теленок зарезан». «Так как же,—говорю,—у тебя на году два раза корова телилась, в позапрошлом году не было у тебя молодняка, а в этом сразу двое. Да и быку-то, говорю, года, чай, два будет». «Будет, говорит, пожалуй, больше, товарищ. Верно. Признаюсь, хотел я тебя околпачить, да видно на травленого волка напал. Об одном горюю,—не дал, ты товарищ, пожить мне в такой сытости подольше, а еще за бедняцкую власть стоишь и нас, бедняков, опекаешь. Принял я, говорит, кулацкую скотинку хранить исполу, половину ему—половину мне, а вы уж сразу и пронюхали, елки зеленые». Забрал я этих овец и быка, чудесным порядком народившегося, и шкуры и мясо, и представил куда следует. Вот какие получаются истории, да если их все вспомнить, то думаю, что не пересказать их ни сегодня, ни завтра».

Всего от раскулаченных поступило в колхоз Сталина:

Лошадей	— 33.
Коров	— 43.
Жеребят	— 7.
Телят	— 4.
Овец	—287.
Баранов	— 3.
Кур	—500.

Когда проведено было землеустройство и колхозники получили ближнюю землю, кулацкая агитация пошла легче среди недовольных индивидуалов. Индивидуалы хотели землю разделить с колхозом прямой линией, проходящей через село: вот вам по одну сторону земля, нам по другую. Так не получилось. Поэтому весной не обошлось без посягательств на колхозные орудия труда и на скот. Один раз ночью паслись привязанными к станку три колхозных кобылы. Самая лучшая

из них почему-то оказалась под утро отвязанной и больной. Врач установил, что был нанесен ей в бок удар. Действительно, удар был так предусмотрительно искусен, что матка в тот же день подохла. Правление настороженно ожидало всего, мельчайшая недоглядка вела к потере инвентаря и порче машин. Так, однажды чуть было не испортили жатку. По пути, где жатке следовало идти, понатыканы были железные прутья, при небольшом продвижении вперед—жатка наткнулась бы на них и поломала бы зубья и другие части. На селе шли разговоры про пожары, раздавались угрозы: «Увидите красного петуха». Всего больше боялись поджога зернохранилищ, а к осени опасались за целостность скирдов, находящихся в поле. Дело доходило до того, что туда вывозились пожарные машины и кадки с водою.

Сев весенний у сталинцев прошел необычайно дружно. За это они даже получили премию от окружной колхозной конференции. Премией был трактор, совершенно новый, привезенный из Гамбурга. Программа сева была выполнена в назначенный срок. Первый подъем колхозных работ был очень сильный, увлек почти всех, истинные колхозники вспоминают день первой борьбы не иначе, как с восхищением и рассказы про тот день неисчислимы.

Вся история колхоза меньше чем за год своего роста,—это сплошная полоса усилий колхозного актива предотвратить возможность колхозного развала, который мог постигнуть артель по случаю кулацких настроений, недрающихся в известных прослойках починковской и коннозаводской экономий, были среди тех прослоек всякие, перечислим их лишний раз. Имелись такие, которые привыкли к легкому заработку на базаре, к шинкарству, к мелкой сделке «шахер-махер», имелись такие, которые никогда не работали на полях—сдавали в прошлые времена свою землю лошадникам исполу, и теперь им работа казалась в колхозе чем-то оскорбительным («Я и на своей земле не работал, а тут меня

заставить хотят на «чужой» спине гнуть»), имелись такие, которые занимались ремеслом и полагали, что идти на поле от явного личного заработка—нестоящее это дело, имелись такие, которые привыкли к отхожничеству, имелись такие, которые во время полевых работ предпочли служить в Госконзаводе, а все в общем они составляли ту разновидность маловеров, которая к осени выявилась как вредный балласт в колхозе.

Одни рассуждали примерно так:

«Пусть голяки работают, у них не было ничего, а в колхозе их хоть покормят, нам же работать за это несподручно. Лучше синица в руках, чем журавль в небе—жди, когда осень придет, да чего-то дадут, лучше уж промышлять пока на стороне, обождать, удостовериться—много ли они получат».

Другие рассуждали иначе:

«Чего может обработать неумеющий человек. Кто тут собрался в эту «шайку-лейку», тюха да матюха, порядочный домохозяин только приглядывается. Бабы да голяки заправляют делами. Ничего они не проработают, попробуют, да разбегутся во все стороны, неужели мне тоже в этом деле участие принимать, подожду, погляжу, что получится».

Третьи вовсе иную думу думали:

«Уродится у них хлеб, это несомненно. Машины, бесперечь говоря, лучше конной тяги, но никто из умных не поверит, что хлеб колхознику отдадут. Затем и в колхоз заманили, чтобы из мужика силу выжать, а ему шиш показать. Кто из настоящих хозяев трудиться будет задарма. Подожду-ко я ходить на поле, или схожу несколько раз для близиру, посмотрю, что осень покажет, а пока перебеюсь кое-чем».

Четвертые думали еще оригинальнее:

«Такая идет перепалка у них, что едва ли разберешь потом, кто работал, а кто нет. Бригадиры и писать плохо умеют, да и списки наверно затеряют. Притом же, кому будет охота разбирать бригадировы каракули, в них и понять-то ничего нельзя будет, поэтому, ежели

решенье и выйдет давать что-нибудь за работу, так всем поровну—кто работал и кто нет, а поэтому от серьезной работы воздержусь, погляжу, что осень покажет».

Половина пахарей, так-то рассуждающих, во время летних работ не выходила в поле или выезжала очень редко. Вместе с другими трудностями—недостачей фуража, неосведомленностью некоторых активистов-бедняков в полевой работе (ибо безлошадник не занимался раньше пахотой), недостатчей питания для людей, недостатчей тракторов и технической силы, могущей починить машину — это предательство подкулачников по отношению к активу усугубило тяжесть колхозной стройки. Колоссальное влияние базара на ход работы только с очевидностью подчеркивало лишней раз засоренность колхоза непригодными людьми. День отдыха был введен в воскресенье. Кажись было бы выгоднее для религиозных колхозников, на самом деле указанная часть колхозников интересовалась базаром, который происходил по четвергам. Во время базара процент работающих резко падал. Торговали печенкой, перепродавали барахло, масло, яйца, угощали чаем заезжих крестьян в своих домах, стояли у шинков.

Четверг давал высший процент прогулов. Словом, люди починковской экономии, которая, это помнить надо, была наимногочисленной, были заражены богомольем и торгашеской психологией. Так, 27 сентября, время выборки конопли и уборки картофеля, совпало с празднеством—осенней ярмаркой, над починковцами взяли верх старые привычки, они заявили бригадирам: «Никак нельзя идти на работу на праздник». Невзирая на раз'яснительную работу починковцы (члены починковской экономии) вышли на работу в количестве 30, вместо 300, тогда как березенцы, например, все вышли на работу.

Рассказывали мне о многих ухищрениях, посредством которых матери хоронились от работы. Так одна баба беременная утверждала, что ей пора родить, и по-

этому она не может ходить на работу. Время показало, что родить она должна будет зимой, а осенью она накладывала на живот под сарафан какое-то тряпье для отвода глаз прочим.

Были бесчисленные попытки вразумить починковцев-прогульщиков путем всяких собеседований, разъяснений на полях через активистов. За ходом работ в колхозе следил райком, а с организацией районной газеты «За колхозную деревню» взяла она колхоз на свое попечение. Члены правления рассказывают о тех моментах необычайного геройства, которое сказалось у истинных колхозников в рабочую пору. Лошадей кормили овсяной соломой, полученной от конного совхоза. Сено покупали у крестьян, платя вдридорога, ржаную солому резали соломорезкой и также превращали в пищу для рабочего скота, а сами люди по несколько дней подряд не видели семей, ночевали в поле под телегами, днем пахали или сеяли, или жали, а ночью сторожили добро, опасаясь покушений со стороны кулачества. Летом созданы были ясли для малых детей активистов-колхозников, и матери могли вместе с мужиками оставаться подолгу в поле не беспокоясь. На работе организовали общественное питание и тем много выиграли, подняв положение, ибо у некоторых нечего было есть, а на работе он оказывался сытым. Каждый этап работы брался с бою. Когда пришел сенокос, то выжидали вызревания трав, несколько запоздали, и это опять дало повод кричать о неумении работать, о гибели колхоза, о лодырях-колхозниках. Когда осталось около десяти возов нескошенной травы на неудобном для косьбы месте, то поднялись в антиколхозной среде суждения:

«Знали мы это наперед, погноили траву коммунарики, оставили траву ни людям, ни себе, глядите вот на них, любуйтесь, каковы хозяйственники».

Возникали легенды о том, что вся трава осталась нескошенной, хотя и этот остаток позднее был скошен и травой перевозен для лошадей. Мне приводилось очень

много за два года своих колхозных раз'ездов наблюдений и работы в колхозах, слушать такие легенды, где из-за одного оставленного в лугах клочка травы создавали целые вороха поклепов на колхозное руководство, а любители этих историй разносили их по всей крестьянской округе, сбивая с толку крестьян. К моменту сенокоса относится как раз зарождение комсомольских бригад. Было развернуто соцсоревнование между отдельными комсомольскими ударными бригадами. Когда требовало этого дело, комсомольцы оставались работать сверхурочно на ответственных и трудных работах. Не обходилось, конечно, без разгильдяев и лодырей. Таких удел был—черная доска в газете «За колхозную деревню» и мера внутреннего воздействия. Но трудности и неполадки организационные, которых оказалось при большом деле непредвиденно много, саботаж починковцев — все это оказалось такими фактами, с которыми повидимому не смогло как следует справиться тогдашнее руководство артели, сталинцы в конце августа и начале сентября переживали полосу прорывов, вина за которые по справедливости легла на руководство артели. Газета забила тревогу («За колхозную деревню», 11 сентября 1930 г., село Починки):

В починковском колхозе с уборкой урожая положение угрожающее: не сжатого овса около 200 га, при чем примерно половина его не связана, имеется лен на корню, не вырыто картофеля свыше 100 га, не сжата вика. Уборка требует непрерывной, напряженной работы всех колхозников, вместо этого выходы на работу равняются примерно 25—30 проц. (450—600 чел.), вместо всех 2000 трудоспособных, да и те работают с двумя днями отдыха в неделю (четверг на базаре гуляют, в воскресенье просто отдыхают). В результате: молотильные машины загружены процентов на 40—работают только в одну смену, несколько дней подряд простаивало до 140 лошадей, при наличии громадного количества не сжатого хлеба. Правление простой ло-

шадей объясняет отсутствием рабочих рук и телег, в то время как на складе в колхозе имеется достаточное количество и колес и станков».

Райком вырабатывает практические меры по ликвидации прорыва и мобилизует общественность. Организованы воскресники членами профсоюзов, ежедневно работали учащиеся педтехникума и девятилетки, райком указал, что «не все колхозники знакомы с порядком распределения урожая и питают надежду на то, что получат и те, кто не работал».

С проведением мероприятий, выработанных райкомом, секретарь сталинской ячейки Белогунов и зам-предправления, тогда Болдинский, не справились и наделали ошибок. Прорыв медленно ликвидировался. Однажды, по почину или недоглядению означенных лиц, колхозники прекратили работу на два праздничных дня и тем сорвали план уборки. Кроме всего, успокоительное настроение царило в правлении («успеем, куда торопиться, уберем, придет время»), поэтому прорыв не так изживался, как можно было бы изжить, вот почему особым постановлением райком снял с работы означенных товарищей, бросив на помощь колхозу лучших своих работников (Мартемьянов, Федосеев), под личную ответственность поручив им с бюро сталинской ячейки в однодневный срок разработать оперативный план ликвидации прорыва.

Газета в свою очередь развернула смотр работы и работников на своих черной и красной досках. Новое партруководство райкома и молодая газета—орган его (она существует только лишь с 1 сентября) явились толкачем для неповоротливого правления артели и прорыв был ликвидирован. Когда все убрали и частично помолотились, то пришла пора распределять урожай. Прежде всего сказать надо, какая была оплата труда и как он учитывался. Сдельщина практиковалась только в пашне, остальные работы были разбиты по разрядам. Рабочий с двухконным плугом должен был за рабочий день, 10 часов, вспахать гектар, это считалось труд-



единицей. У других, повторяю, учитывались только часы. Введены были пять разрядов. Первый расценивался в рабочий день—труд'единицу, второй— $1\frac{1}{4}$ , третий— $1\frac{1}{2}$ , четвертый— $1\frac{3}{4}$ , пятый разряд давал 2 труд'единицы в рабочий день. Косьба, жнитво расценивались, например, по четвертому разряду, как очень трудные работы, пашня—третий разряд, боронование, сгребание—второй и т. д. Правление у сталинцев на зарплате: председатель получает 100 руб. в месяц, остальные трое—по 90. Продукты они получают из колхоза по заготовительным ценам не больше, как на 100 труд'единиц в год. На таком же положении все служащие в колхозе, рублей они получают больше или меньше, но продуктов на 100 (рабочих единиц дней), они отчисляют от своей зарплаты в колхоз от 3 до 10%. Практиковались в колхозе денежные премии за усердие и качество работы. Вложенный капитал (лошади, машины) зачисляется в пай, и на каждый рубль пая получает владелец капитала процент из фонда, который складывается из 5% отчисления с полеводства. Урожай распределяться начал с тех экономий, которые почти целиком покончили с работой. Распределению подверглись пока 70% урожая, остальные 30% будут распределены к январю 1931 года<sup>1)</sup>.

Такими оказались истинные хлебоборобы-тагаевцы и янкин-станцы. У починковцев дело заштопорилось, их урожай еще в большей части в копнах. Но уже опыт распределения урожая в названных экономиях в сентябре-октябре опроверг все помышления кулачки-настроенных людей колхоза и единоличников. Регулярно работающие заработали значительно больше того (иногда вдвое, иногда втрое), что они снимали с земли единоличничая. И наоборот те, кто не работал, получили самое мизерное по количеству своих труд'единиц. Возьмем примеры:

---

<sup>1)</sup> Книга писалась в конце ноября 1930 г.

ИЗ ЯНКИМ-СТАНСКОЙ ЭКОНОМИИ.

Семья Зимина Вас. Ив. имеет 3 рабочих-трудоспособных. Семья получила следующее при распределении (это составляет 70% всего заработка):

1346	кило	ржи
648	»	овса
74	»	проса
126	»	вики
20	»	льносемени
16	»	коноплесемени
648	»	картофеля

Семья Кучаевой Анны Никит. тоже имеет 3 рабочих (прогульщикoв). Семьею заработано:

352	кило	ржи
170	»	овса
33	»	вики
20	»	проса
5	»	льносемени
170	»	картофеля

Первая семья заработала в три раза больше, чем вторая в тот же промежуток времени, с таким же количеством рабочих рук.

ПО ПОЧИНКОВСКОЙ ЭКОНОМИИ:

	Трудо- способ- ных.	Труд'единицы.
Опарина . . . . .	2	312
Илюшечкин . . . . .	3	543

Первая выработала по 156 труд'единиц на рабочего, второй—по 128 труд'единиц.

Принять надо во внимание, что у колхозников еще есть собственные усадьбы, которые обобществлению не подлежат. По приблизительным данным на хозяйство семьи Зими́на (7 едоков) снимают картофеля около 1500 кило (100 пудов). Исчисленный заработок Зими́на является средним, рекордные цифры хорошего заработка дают разницу в 20—30 раз с заработком прогульщиков. Надо помнить, что уже никаким налогом заработок колхозника не облагается и никаких отчислений от него он не дает. Семенной фонд, страховые платежи и сельхозналог сдает за всех само правление артели из общего количества урожая, что для сознательного колхозника значительно удобнее и легче.

Приводим краткую таблицу 70% среднего заработка семей, имеющих среднее количество трудоспособных.

#### ТАГАЕВСКАЯ ЭКОНОМИЯ:

	Рожь.	Овес.	Картоф.	Просо.	Вика.	Льносемя	
1. Зайцев Гурий Сергеевич (бедняк) . . . . .	2080	1002	1002	114	195	31	Килограмм.
2. Тянухина Елена (новая колхозница, рожь снимала со своей полосы) .	—	1168	1168	129	225	33	Килограмм.

Приводим таблицу низких заработков тех семей, которые имеют то же количество рабочих рук (семьи прогульщиков):

	Заработано на одного трудоспособного
	Труд'единицы.
Белокурова Елена Кузьминична . . . .	30
Ширяева Анна Васильевна . . . . .	31

Единица приравнивается рублю, на который получает колхозник продукты по твердым ценам.

Эти таблицы разъяснили мне все в настроениях колхозников. Я вспомнил опять белоголового парня, который говорил: «одним дали — другим нет», его гнев бессильный, вспомнил разговаривающих под сенцами коннозаводских слобожан, которые не отчисляли в колхоз денег, не веря в дела его, а осенью пришли с требованием сена и потом злобно ругали правление: «грабители» и всяко, припомнил бабу на собрании, ее мною тогда не понятый гнев, источник которого стал мне потом понятен, и я уяснил, что источник тот для всех маловеров один — они просчитались.

Каждая сцена, виденная мною в колхозе, стала в свете цифр ясной. И даже теперешнее поведение починковцев, желающих помешать молотье своим неучастием, вполне объясняется таблицами, приложенными здесь.

Однажды я сидел в конторе за столом и записывал впечатления о колхозе. Мне все мешали люди, громко вскрикивающие у порога. Они окружили уполномоченного своей экономии, наперебой утруждали его слух тяжелыми словами, а он отмахивался от них, присовокупляя: «Не делайте из мухи слона и не торгуйте слоновой костью. Виноваты сами, держитесь за дело крепче и бросьте разговоры разговаривать».

Когда все вышли, то уполномоченный подсел ко мне «Вы—писатель?»

«Я — писатель».

«Вы из Нижнего прибывши?»

«Из Нижнего прибывши».

Улыбается и говорит, хитровато щурясь:

«Слышали ли?»

«Слышал».

«Поняли ли?»

«Нет».

«Одиннадцать человек у меня таких ахахи-блинников, любителей даровщинки и жирных колхозных подачек. Летом они в страдную нашу пору зачислялись отхожниками, а семьям в колхозе работать «полегче» советовали. Жены их гуляли по тропкам полевым, собирали васильки, резвились как птички-перепелочки. Нам пот и неугомонная работа, а им празднество и кобелирование (смеется рассказчик, присовокупляя мужицкое насквозь просоленное словцо), ложе — трава мурава, одеяло темнеющая ночь, бранный полог — звездное небо. У нас понужденья, конечно, не было к работе, и, пользуясь этим, они тружеников наших задорили неподходящими словами. Работайте-де авансом, а мы денежку на ладонку каждый месяц кладем, а осень-де опять покажет свое, еще никто не знает, как и что делить придется. Одно слово, стремились люди в ту сторону, где близко пахло деньгами, так они и простолярничали, промалярничали все лето, у них не душа, а котелок вместо нее неодушевленный, так я понимаю. А осень как только пришла, заявили они к нам за сенцом для своих коровок. Нет, говорим, шалишь, и они получили шиш конечно. И обделив их чем следует и даже чем вовсе не следует, тут мы вселили в них настоящее вразумление. Да поглядели они, что получили другие, да прикинули свою получку, то взвыли и теперь видите стали самыми яркими колхозниками, каждый день на работе, нагоняют упущенное. Вот они как проучены нами все, кто дело не делал, а от дела бегал, да кто только вертит языком, что веретенном, вяжет, путает, мотает, плутает. Вот какой мы им пред-

ставили раз'ясняющий ответ без рукописного внушения и всякого рукоприкладства. Уразумели они нашу дисциплину и наше радение к труду, все-летуны, все зайцы, все лево-правые и право-левые двурушники, все примиренцы, троцкисты и уклонисты»...

---

## VII. про что говорила беднота

«Товарищ редактор, спешу об'явить, что не один год висел у меня на стене портрет великого безбожника — нашего Ильича и еще Сталина, и Держинского, и красного поэта Демьяна Бедного, но, как ни стыдно сознаваться, а приходится,—висели они на стене, а рядышком Иван Предтеча и отец Серафим с медведицей, а почему это, а потому это, как у нас теперь равноправие, а баба моя в богов веровала. И вот теперь я вступил в колхоз имени товарища Сталина и баба моя померекала и увидела всю суть, как она в артель безбожников попала и сказала: «Выноси». Я этого Ивану Предтечу и Серафима почтенного тут же, конечно, на слом, больно жарко они горели, и теперича на стене у меня никаких уклонов, о чем и сообщаю для об'явления в печати, чтобы другие поступали по-нашему».

Клочок бумаги с этими словами попал мне в руки из архива селькоровских писем «Советской Деревни» в Нижнем-Новгороде. Писал их слова эти бедняк.

В начальную пору колхозных организаций в районе вместе с ломкой хозяйственного быта сразу ощутимо встал вопрос об окончательном освобождении семьи бедняка от церковного влияния и вот тут пришел, по моему, черед поговорить об этом, пришел черед вникнуть и в то, как через колхозный рассудок был побежден церковный предрассудок. Когда ознакомился я с тем, как умирали предрассудки, то был удивлен, что

местное население, далеко не передовое по сознательности, все-таки очень непромедлительно отрешается от церкви и бога. Жизнь показывает, что содействуют этому больше, чем кто-либо, сами жрецы православной религии.

Я убедился, изучая подобные стороны деревенской жизни, что незамысловатые плутни «батюшек» и весь строй их жизни, спаянный с кулаками, основанный на явном паразитизме существования, все это прежде всего стало бросаться в глаза и является лучшей агитацией за атеизм. Где, в каком месте нельзя раздобыть самых свежих историй по «благочинной» части. И вот я раздобыл вскоре такие истории, которые были схожи с теми, что приходилось уже встречать по другим местам. Починковский поп той церкви, которая теперь под клубом, еще в пору поволжского голода, когда надо было спасти людей через церковное серебро, попик серебро все зарыл у себя во дворе под поленницей в навозе. Чрезвычайно непристойные для священных предметов места. Тут у него было много зарыто серебра: зарыты были образки в серебряных и золотых оправах—подарки купецкой знати былых лет, кресты, сосуды, евангелие, серебряные ложки и еще какие-то предметы церковного обихода, название их неизвестно, разве только кончившим духовную семинарию. Только в период ликвидации кулачества это дело приняло огласку. Дьякон той же церкви, про дела эти знавший, будучи однажды «под мухой», испросил себе долю от спрятанного на похмелье. Поп устыдил его, а дьякон этому не внял, он выдал попа, и последний ныне выслан.

Вообще, признаться надо, в этих местах попы были люты, сидели в районе, как пчелы на сотах, поэтому в некоторые времена стали антиколхозными вожаками. Мне поведал молодой колхозник Гришутин из села Никитинского про свое с подобным попиком единоборство. Началось оно перед рождественскими праздниками. Поп готовился к боголепию, а Гришутин к организации колхоза, и Гришутину запонадобился дом для



бедноты. Одинокому попу предоставлена была домушка вместо большого здания, но раздосадованный поп заперся в своем особняке и дал знать усердному населению, что сельские коммунисты хотят лишить их треб и служб, с каковой целью объявлен поход в первую очередь на пастыря. и по этому случаю пастырь до тех пор не выйдет на глаза к народу, пока не обеспечена будет ему полнейшая безопасность от выселения и защиты всех верующих. А верующие это истолковали на тот раз вовсе произвольно — де надо «проучить» колхозный актив. В первую очередь поймали секретаря ком'ячейки, выволокли его на улицу, содрали с него пальто и отколотили. Были такие—имели они мнение—«отсека наглухо прикончить». Но колхозная беднота отсека вырвала из рук оголтелых церковников и подкулачников и спрята-  
тала.

Толпа явно бесчинствовала и глумилась над зачинателями колхозного дела, злорадствовал поп и активно отмалчивался. Церковники, пытаясь вынудить у предсовета Гришутина обещание не трогать поповское жилье, принялись бить окна канцелярии и ломать двери ее. Там сидел председатель совета сам Гришутин, и толпа кричала ему:

«Мы пришли прикончить отсека, ежели не будет обещано уничтожение колхозного протокола».

Даже нельзя было предположить, до какой поры имела решение бесчинствовать толпа, ежели бы не было вмешательства адмотдела. Попа убрали, но корни дела его остались на селе. Весною возобновили церковные подкулачники атаку на колхозный росток. Во время первой вспашки антиколхозные селяне, кулацкою частью прихожан подстрекаемые, высыпали в поле, к колхозному участку, и вот бабы принялись швырять комьями земли в пахарей и в лошадей, бросать палки под плуги, камнями пугать рабочий скот. Получилось даже так, что Гришутину крух земляной угодил в глаз — пахать дальше было несносно. И все-таки колхозники под гиканье и свист продолжали пахоту и несколько

часов на ней продержались, а потом явилась волмилиция и приняла колхозников под защиту. Но только повернулось дело так. Стали бросать исподтишка камнями и в милиционеров, ругали их задорными словами, обливали потоками поганых выкриков, стоя стеною и произнося обидные слова из-за спин передних, а ребяташек подговорили бросать в милицию черепками из детских пращей и кнута. Только арест кулаков положил конец такой травле. Про то, как боги мешали колхозам, напишут в будущем целую книгу, переполненную фактами чрезвычайного интереса и яркости. Ограничиваюсь сообщением вовсе кратким, касательно того, что делалось в Починковском районе. Некоторые села в члены церковных советов избирали намеренно из беднячек, которые бы имели вес перед властями и ратовали бы за церковь смело. А монашки, нивесть откуда взявшиеся, ходили по селам в одежде нищих и сеяли смятение:

«Взгляните на нас, — говорили они, — мы наги и боссы, выслушайте нас, кем мы были и кем мы стали, когда пожилы год в колхозе. Мы были хорошими хозяйками и состоятельными крестьянками, а теперь мы от голодной смерти ищем добрых людей, которые не оставляют нас своею милостью. И поделом нам. Воздержитесь от своих намерений, коли не хотите сподобиться нашей судьбе».

«Не пройдет ни одного года, ни одного месяца, ни одного дня, чтобы кулаки и подкулачники, попы и всякая мразь нам в морду не плюнали исподтишка», — писали в газеты селькоры про тех странниц, между прочим. Естественно и понятно то довольство, с которым говорила и собиралась беднота в конце ноября на собрание свое волостное, собиралась в клубе, выделанном, как упоминалось раньше, из церкви.

Собрание было затеяно райкомом с умыслом. Райком думал столкнуть на нем, на собрании этом, столкнуть лицом к лицу бедноту колхозную и единоличную — пусть поделаются меж собою откровенностями. А этим

амым начиналось возглавление колхозного прилива. было это чрезвычайно интересно задумано.

С полудней стягивался бедняцкий люд к кооперативной чайной и к дому культуры. Около него запрудилось пространство подводами, приехавшими издалека, район большой, пожалуй, будет на полсотни километров в диаметре, а то и больше. Но многие явились пешими в лапотках, в зипунах, перехваченных на животе веревочками. И бабы, укутавшие головы утиральниками и шаями, в дубленых шубах, толстоногие от онуч, густо наверхенных,—бабы тоже явились узнавать правду про колхозную жизнь.

Стоял конец ноября — пуржило, в холоде ежились люди в улицах и на дорогах.

Теперь опишу, какой был дом культуры. Дом культуры выделан был из зимней церкви, урезан сверху и вновь перекрыт по светскому, крашен белым изнутри и снаружи и заново распланирован. Алтарь стал сценою, об этом догадаешься, если обойдешь дом кругом, по форме окон церковных, по колоннам. Основное в доме культуры—зал, очень удачный, с покатым к сцене полом, с рядами скамеек, как в городских кино-театрах. Подле зала фойе, а по другую сторону зала комната для отдыха и уголок-читальня.

В такой-то час зал был заполнен мужицкими фигурами, отстаивался там запах онуч и дубленки. Сермяжное мужичье царство. Нависала тишина. На сцене говорил малого роста с бритой головой человек, это был сам отсек райкома, Гарин, говорил Гарин зычно, хватаясь руками за пюпитр, голос его рвал тишину и к последним рядам скамеек доходил громовым эхом.

...Ленин говорит, что мелкое хозяйство из нужды нас не выведет, Ленин говорит, что необходима перестройка на началах коллективизации, Ленин, товарищи, говорит...

Голос трепетно замирал в фойе, голос через раскрытую дверь выбегал на улицу неясными отзвуками.

Подле дверей остановились покурить трое, один молодой, один постарше, один вовсе старый. Во все старый в дубленом полушубке красной масти говорил сипло: «Он правильно калякает, как вы тут, други, не вертитесь. В Америке, видишь ли, кризис, всего в досталь, а покупать некому, поразмысли-ко, какая тут закорюка. Коли человек не работает, скажи на милость, на кой хер он купит? Возьми к примеру времена перед японскою войною и ближе. Мой Ванька за три целковых в трактире у Сметанкина работал, у хозяина денег куры не клевали, для него все было доступно, а для Ваньки ник чему подступа не было. Али, скажем, отец мой, за семь рублей целую зиму на богатых людей робил. Вот тут, как в Америке, получается—всего в досталь было, а Ванька мой, отец мой около всяких сладостей только хаживали, облизываясь. В лавках, бывало, глянуть ежели, то и ситцу, и сукна, и даже парчи и чего только душа хочет, видимо-невидимо. а Ванька ходил в тканине, веревочкой подпоясанный. Тот же факт со сластями получался и со всякой с'едобной штукой. Говаривали—Расея богатая страна и всего в ней гибель, де нашим сахаром за границей свиней кормили, а у нас покупать некому было, все беднота на бедноте, особливо из крестьян. А всего было много и все кусалось, денег просило, карману требовало. Вот оно и выходит,—с виду достаток у них, у буржуйских стран, а бедному человеку эти достатки хуже всего на свете. У с'едобных магазинов, вспомню, бывало, разве мало нищих с голоду дохло. Ой, братики, занимательная его райкомовская речь и чересчур смысловатая. Понять ее и во всей величине раскусить надо. Вот возьми теперь нашу советскую землю, какая вещь в магазине есть у нас, немедля идет по людям, нету ей долгого лежания. А кабы у нас да такой достаток в магазинах был, как у них, мы бы все в сукнах ходили, голова садовая»...

«Вот то-то и оно-то, — поддакнул молодой в заячьей шапке и в шинельном пиджаке,—советская власть идет к нам на всех парусах навстречу и на все сто процентов добра желает, а мы корячимся».

Помолчали. Закурили. Поплевали на снег.

«И верно, — продолжал старик, — вот они в колхозе живут, такие же бедняки, как и мы, а ведь послушаешь — никаких страхов у них нет, а у нас у каждого страхи. Сколько канители теперь всякой у нас на селе. Соберемся всем кагалом, обсудим вечером, обсосем каждый вопрос и получается вроде того, что все идет как по маслу, сходимся на том — советская власть и партия только посредством данной линии выведет крестьян из капиталистических рамок. Но как только дело дойдет до самой точки — организоваться — другие речи — «поглядим, обсудим, обождем малость», и пошло и пошло. Из этого очевидно одно: и середь нас, бедняков, есть неверные. Вы, скажут нам богачи, сдохнете с голоду, вы, скажут, эту директиву выполнить не сможете — и мы верим, хотя как тут верить, может ли умереть с голоду половина Расаи, которая в колхозе есть? Вот, глядите, теперь нам раз'ясняют. Видим — правильно все, они умнее нас, эти колхозники, в тысячу раз».

Говорила тут единоличная беднота, было сугубо важно вызнать ее мнение. Когда наступил перерыв, и они вслед за другими пошли на обед в кооперативную столовку, я последовал за ними. Делегаты разместились в обоих отделениях столовой. В столовой был грязный шиблеватый пол, на столах стояли дешевые цветы, было тепло и парно. Делегаты развязали кушаки, распахнули полушубки, положили на окна бараньи шапки кучами, а делегатки разложили шали и остались в головных платках. Вольной публике обеда выдавать перестали, но как командированный, я на обед рассчитывал и ждал его, подсев к столу, вокруг которого разместилась единоличная беднота: молодой парень в заячьей шапке, постарше его мужик и словоохотливый старик. Стояла в ту пору сдержанной мужичья речь. Заметно было, что расселись делегаты компаниями, единоличники особо, колхозники из района особо, а сталинцы тоже особо. Рядом с нашим столом сели колхозники из района, четверо мужиков в чапанах, они говорили громко, энер-

гично, потирая руки в тепле от удовольствия и крикая. Один из них вел речь:

«Ладно. Когда вот такое дело получилось—двор надо строить, а гвоздей нет и влип я в это дело, то добираюсь я теперь не только до явных врагов, но и до врагов, которые в нас самих сидят—халатность, например, ротозейство и «авось-небось», так как халатность тоже наш исконный враг, то она на шее нашей сидит, а относится это и к нашему вику»...

Старик, со мной сидевший рядом, наострил ухо и не проронил ни слова, дальше начал слушать.

«А между прочим колод и кормушек у нас нельзя было сбить — ни гвоздя у всего колхоза. Я в дождь и слякоть на измученной лошади приехал в вик и говорю: «Нельзя ли без гвоздей, говорю, кормушку сделать», и что же они мне сказали? Вот что сказали: «Подожди, разберемся, бумажку напишем». А той бумажки что-то долго не писалось и конца тому писанью и начала нету. Это что же? Это тоже, по моему, вредительство».

Мой старик, перемигнувшись с крестьянами и тихонько тронул за рукав рассказчика.

«Значит, милый человек, много всяких неурядиц?»

«Где?»

«Да вот хоть бы в вашем колхозе?»

«Никаких неурядиц нет».

«А вот хоть бы насчет гвоздей»...

«В вике — было дело. С гвоздями проволоклись они, так взгрели за то, кого надобно»...

Старик подумал, опять поглядел на приятелей, опять спросил:

«Выходит, живете без нужды?»

«Нет, отец. Нужда за всякий раз имеется. Только нужда разная бывает. Одному положим жрать нечего — налицо нужда, а другому хочется третью корову купить, да денег нехватка. Это он тоже нуждой зовет. Где нет нужды?»

Старик понял того, смолк. Мне приметно было и до сей поры, что колхозник с колхозником говорит на

один манер, а с единоличником на другой. С первым склад речи такой-де — нечего от своего брата таить, а со вторым появляется в речах примесь осторожности-де, как бы превратно его тот не понял. Тут, думаю, уже успело сложиться понятие о «чести» своего дела и оно свидетельствует, во-первых, о том, что колхоз стал дорог мужику, что колхоз оберегаем от «дурного глаза», во-вторых, о том, что колхозник вырос на опыте своей колхозной стройки и в беседах со своим собратом чувствует невольное свое превосходство перед единоличником, в третьих, о том, что единоличник — это бросается каждому деревенскому жителю в глаза, — спрашивая о колхозе, прежде всего, выясняет о недостатках дела, что не может не раздражить истинного колхозника, а все это — и первое и второе и третье — как нельзя ярче подтверждают тезис о том, что колхозники — действительная теперь и вернейшая опора социалистического дела в деревне.

Ответ колхозника озадачил всю тройку за моим столом, старик промолвил:

«Нужда нужде рознь. Это достоверно так. У нас вот такая нужда — ни сена тебе ни соломы, убрался на гумне, глянь — есть нечего, опять думай о приработке»...

«А у нас, дед, нужда особая, — ответил колхозник. Вот двор смастерили, зернохранилище, теперь пришло время машины выкупать. Одни выкупили, а другие нет, хотелось все сразу выкупить ныне. Но, как говорится, не больно шибко, мужик, шагай — портки разорвешь. Прыть приходится удерживать в себе. Вот придет время, разделаемся с кредитами, там особые нужды появятся. Да уж появились. Общественный огород вот на следующую весну разделявать, а тут негодь превращать в пахотную землю. Нынче всего четыре га раскорчевали. Опять же вот недавно провели день молотыбы — выручку целиком на громкоговоритель и на радио приспособили. Везде дыры, везде надо их замазывать»...

Старик покачал головой, непонятна ему такая нужда, да и не назвал бы он это нуждою, — громкоговоритель, радио...

«А как же, примерно, с картошкой, спросил он, встал ли на зиму хлебушка? Радиву, ее, родной, есть не будешь. А голодному человеку хоть соловьи пой — все равно противными его песни покажутся».

Колхозник улыбается снисходительно:

«Конечно, дед, без обеспечения радио слушать с охотой не станешь. У нас нет таких, чтобы, к примеру, думал — не хватило мол хлеба, али что, это у нас вопрос решеный — всем хватит».

«Голова садовая, выкрикивает старик, а при нашем вот деле пой «не рыдай мене мати» или волком вой».

«Так ведь ты же, дед, единоличник будешь?»

«То-то и есть, что единоличник, родной».

«А у единоличника—у бедняка, как же иначе?»

Старик вздохнул, покрутил головой и принялся за щи. Он ел и не вслух рассуждал про нужду: «Ишь какая нужда выискалась у них — общественный огород, кочки срывать, ты вот про то говори — хлебнуть нечего. Придешь домой с работы, а на столе обглоданные тараканами корки, — это нужда, а то поди ж ты на столе хлеб, в печи хлебово, а нужда. Ты вот ко мне в сусек погляди — узнаешь «нужда».

Ели все молча, потом дед облизал ложку, испарина выступила у него на лбу, он спросил того:

«Ты вот лучше поведай нам про налоги, как вы с ними делаетесь и вообще о добытках».

«Сельхозналог, дед, выполнен на сто процентов, страховые платежи на сто процентов, хлебозаготовки перевыполнены, дед, сбор на метэс — стопроцентовой, положили пять тысяч в сберкассу»...

«И осталось для себя?»

«Сколь труд'единиц кто выработал, сообразно этому и получил. Обеспечение до нового хлеба полное. У нас в поселке двадцать семь семей, не были приняты — торгаши, а то весь поселок колхозный».



«Да ты не из Ягодновского ли «Красного пахаря»?»

«Так-точно, из Ягодновского «Красного пахаря».

Старик удивленно начал вскрикивать: «Ишь ты, суседи нам. Глядишь-ты, всего на десяток верст с гаком мы от вас живем. Глянь-ко, что вы понаделали. А мы вот, смотри, все делимся мнением, выпрашиваем да выглядываем, в чем весь секреть вашей жизни состоит»... О «Красном пахаре» и мне было ведомо кое-что. В один год колхоз этот сумел расширить озимой клин, выполнить в срок все платежи и даже ухитрился произвести некоторые постройки. И еще слышно было, что скот обобществлен в нем по почину самих баб, что создал колхоз бригаду по вербовке в колхоз единоличников из соседних деревень, что в бригаду эту вошли, между прочим, несколько женщин, что случаев нарушения дисциплины в колхозе было всего-навсего только два: это самовольные уходы с работ, что история колхоза знает только два взыскания—за самовольные уходы, как раз. Колхоз отнюдь не исключительное явление в этих местах, есть много тут таких же мелких колхозов, столь же удачливых.

Когда кончился обед и пошли опять к дому культуры, старик мой и дорогой не переставал твердить одно и то же: «Нужда разная бывает. У нас хлебушка недостача, а у них об радио разговор. Да. Вот тут и поверь слухам».

Собрание открылось разговорами бедняков с трибуны. Вперемежку с единоличниками говорили колхозники и все то, что те и другие говорили, не отдавало новизной. Это все было повторением их размышлений и бесед, которые велись друг с дружкой за обедом, за куравом во время дорожных досугов. Единоличная беднота ссылалась на малый их урожай, на то, наконец, что половина из него опять-таки достается лошадинику за обработку, ссылалась на темные слухи про колхозную жизнь, причем оказывались эти слухи или извращением существующих событий, или стопроцентной выдумкой врага, а беднота колхозная приводила цифры урожая,

объявляла количество приобретенных машин и норму заработка, полученного при распределении, и каждый из выступавших заканчивал немудрое выступление свое, произнося: «а все-таки в колхозе, по всему видать, бедняку живется лучше». В этом приметно было поражающее единодушие, точно люди сговорились перед выступлениями и нарочно твердят на один лад, придя сюда. Не было нехватки в жалобах на отсутствие товаров, на бестолковость отдельных чинуш, на организационные неполадки нового дела, что особенно подчеркивалось сталинцами, перенесшими испытания всех стадий организационного пути в гиганте, — ничего не утаивала беднота, да и не от кого ей таить, да и чего таить, но решение отзвучало в словах едино. Колхозная стройка неминуемый и вернейший в их деле путь. Говорил и тот старик, который был по столу мне соседом, он сказал так приблизительно:

«Граждане-товарищи. Я тоже пять раз был колхозником перед весенним севом, входил и выходил и опять входил и опять выходил по дурости. И вот хочу я рассказать, отчего я последний раз вышел и что я от этого получил. Когда я записался в колхозники, то мне начали в уши жужжать—куда ты записался, старик, видишь ли, с кем ты очутился, смекалку, видно, у тебя ветром выдуло, сам-то гол да к голякам пришел, разве ты не видишь, чем это пахнет. Ведь это дело тебе — сумой пахнет. Случится так, что непременно пойдешь из колхоза кусочничать к нам, индивидуалам, а мы тебе знакомую песню пропоем—проси хлеба у зачинщиков новой жизни, кому служил, к тому и с подступом. Ко мне сам председатель совета на дом приходил. Ты, говорит, Сазонов Степан, должен выступить против колхоза, как человек старательный и мозговитый, а не какой-нибудь такой-сякой. Ну, я и выписался. Тем более, скажу, граждане-товарищи, оттого не скрепя сердце выписался, что партейцы наши в колхоз не вступали, в сторонке шушукались, председатель тут мне это и показал. Гляди вот, говорит,

и в голову вбирай, коренная советская защита они, а чего-то все-таки опасаются. Это, граждане-товарищи, коренная платформа, так не годится партийным бедноту подводить. Вот теперь я гляжу и слышу, какого я дурака сваял, оставшись единоличником».

После старика, помнится, выступали бабы одна за другой, я видел, как встала в знакомом молескиновом пальтишке баба и взмахнула руками. Я враз в ней признал Дарью Мосеву. Слова, те, которые она считала подходящими, не собирались у ней на языке, а простыми словами она для такого дня говорить не хотела. И набирая пышную связку газетного лексикона, наполненная горячим пафосом волнения, она кричит:

«Начался колхоз, товарищи. Но мы как-то не осмеливаемся исперва хвалиться. Но нам достаточно, каким результатом хвалиться и, товарищи, мы тут похвалимся. Есть чему хвалиться. Мы сообщаем, что и здравствует пятиконечная звезда, и колхозники всего мира, и пятилетка в четыре года».

Ей говорит сосед по-свойски:

«Колхозников нет в других странах, как им соединяться?»

«Не разводи, товарищ, агитацию,—ответила она сердито,—не ходи, товарищ, у вредителя на поводу, колхозники везде заселись, где есть бедняцкое сословие»...

С ней нельзя было полемизировать, так горяча и убедительна была ее речь, убедительна не словами.

«Какая ты недотрога,—пытается оправдываться сосед,—ежели ты плохо газеты читаешь, то разве я виноват. Ты слушай ушами—другие страны готовят на нас блокаду и поход, а не только, чтобы колхозников разводить у себя на родине...»

«Пушай готовят,—слышны все-таки переговоры, не взирая на председателей окрики,—пушай готовят, говорит Мосева глуше, мы их ликвиднем. Смоленщину ликвиднули, астраханщину ликвиднули, ликвиднули Рамзина, и разве эту сволочь—ихнюю родину—не ликвиднем!!

«Не разводи там галдеж, Мосева,—кричит со сцены председатель явно в сердцах,—целую ярмарку развела. Слушать надо, в самом деле».

Слушать надо было по ходу событий, развертывающихся здесь, все того же бритого отсека в черном пиджаке, стоявшего у пюпитра. Он взмахивал руками над пюпитром, он заливал зал своею зычною речью, и голос его под сводами зала вздваивался, как булыжники, падали слова:

«Вы знаете, что говорили кулаки весною?—  
что не управиться нам с землей,  
что мы к лодырничеству привычны,  
что земля будет без толку попорчена,  
что все мы передеремся и перережемся, побьем друг друга на полосах,  
что мы заработаем восемь гривен на душу.

А что получилось?

Вот вам цифра и прочие данные о состоянии наших работ в колхозах, это касает бедняка, а также и середняка, посравните с единоличниками.

Посев у нас явно больше.

Посевы у нас лучше.

Скандалов у нас вовсе не было, не считая перепалок, которые в любой крестьянской избе могут быть.

Налогов мы сдали больше.

Обеспечены мы хлебом лучше.

Что получилось?

Сами видите, сами знаете, что получилось»...

---

## VIII. ПОЧИН ПОЧИНОК

За время первого сезона сел.-хоз. работ в 1930 году при учете всех ошибок, организационных срывов, внутренних неполадок, при антиколхозном саботаже чужих людей, пробравшихся в артель и разлагавших ее изнутри, при кулацком вмешательстве извне, первый этап существования своего колхоза гигант имени Сталина ознаменовал достижениями, изложенными здесь:

### 1. ПО ПОЛЕВОДЧЕСКОМУ СЕКТОРУ.

Ржаные посевы дали урожай, вдвое превышающий урожай единоличника (30 п. с га у единоличника, 60 пудов с га у колхоза). Увеличен посев озимого клина на 220 гектаров (в 1929 году было посеяно под озимое старыми колхозниками и теми единоличниками, которые вступили потом в колхоз Сталина—918 га. Осенью 1930 года засеяно под озимое 1060 гектаров плюс 68 гектаров озимой пшеницы). Половина всего озимого обсеменено сортовым зерном.

По остальным культурам увеличен посев:

Было весной 1930 г.:

Засеяно осенью 1930 г.:

Клевера . . . . . 199 га. Клевера . . . . . 398 га.

Селекцион. тимофеевки 0 Селекцион. тимофеевки . 25 га.

**Примечание:** В 1931 году яровой клин намечено значительно увеличить, особенно по картофелю и

пеньке. Последняя нужна для обслуживания строящегося пенькового завода. С осени 1930 г. начата культурная охрана общественного сада. Заключен артелью договор с межрайонной организацией по борьбе с вредителями на регулярное опрыскивание и уход за 1135 яблонями. Отведен участок под общественный огород в 20 га.

## 2. ПО ЖИВОТНОВОДЧЕСКОМУ СЕКТОРУ.

В два раза увеличено число рабочего скота, рогатого и мелкого за счет общественных средств артели. Скот покупался на рынке у частных или приобретался через животноводсоюз.

Впрочем об этом цифры:

Б Ы Л О (обобществлен. крестьянский и кулацкий скот).	Приобретено на общ. средства артели.	Теперь есть на-лицо.
Лошадей обобществлен. крестьянских . . . . . 218	Лошадей . 61	Лошадей . 312
Кулацких . . . . . 33		
Жеребцов обобществл. крестьян. до 2-х лет . . 5	Жеребят . 12	Жереб. вс. . 58
Кулацких . . . . . 7	До 1 г. . . 33	
Жереб. обобществлен. крестьян. до 1 года . . 1		
Коров обобщ. крестьян- ских . . . . . 1	Коров . . . 33	Коров . . . 77
Кулацких . . . . . 43		
Нетел. обобщ. крест. . . 1	Нетелей . . 5	Нетелей . . 6
Телят обобщ. крест. . . 55	Телят . . . 36	Телят . . . 95
Телят кулацких . . . . 4	Быков . . . 3	Быков . . . 3
Быков . . . . . 0		
Свиноматок . . . . . 0	Свиноматок 124	Свиноматок 124
Хряков . . . . . 0	Хряков . . . 4	Хряков . . . 4
Поросят . . . . . 0	Поросят . . 17	Поросят . . 17
Овец кулацких . . . . . 287	Овец . . . 15	Овец . . . 302

### 3. ПО ПОСТРОЙКЕ И С.-Х. ИНВЕНТАРЮ.

Построены:

Три скотных больших двора на 120 лошадей.

Три амбара.

Утепленный двор в поле.

Два дома в поле для караульщиков.

Переоборудованы кулацкие дворы для рогатого скота, а также для свиñarника на 200 голов.

Приобретено:

Два трактора, один куплен, другой подарен сталинцам окружной конференцией колхозников за боевое проведение сева.

Куплены еще:

Четыре молотилки.

Одиннадцать сеялок.

Две тракторные жатки.

Двадцать три обыкновенных жатки.

Четыре сенокосилки.

И другой мелкий инвентарь.

### 4. ПО ВОПРОСАМ КУЛЬТУРЫ И ПАРТРАБОТЫ.

Открыто пять красных уголков-читален. Они элементарно оборудованы. Достаточно обслужены газетами. Вовлечено в партию бедняков и середняков 52 человека (12 партийцев, 40 кандидатов), из этого числа 10 женщин беднячек. Вырос комсомол. Организованы комсомольские бригады. Ликбез обслуживает 200 колхозников, рабфак обучает 20 человек, женотдел ведет работу с делегатками (их сотня).

---

## ПРИЛОЖЕНИЯ

### Первое.

ПЕРЕЧЕНЬ ИМУЩЕСТВА С.-Х. АРТЕЛИ ИМЕНИ СТАЛИНА ПО  
ОБОБЩЕСТВЛЕННОМУ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО СЕКТОРУ.

I. Мастерские: а) слесарная; б) горяче-кузнечная;  
в) холодно-кузнечная; г) столярная; д) шапочная,  
е) сапого-валяная.

II. Предприятия и промыслы:

а) нефтяная мельница, б) электростанция при ней,  
в) маслобойка, г) ветрянки мельницы—2, д) пасека, е) са-  
ды—4, ж) огород.

III. Инвентарь главный:

четыре трактора, молотилок полусложных—4, шести-  
конных—2, парных—2, приводных плугов к тракто-  
рам—4, однолемешных конных плугов—113, двух-  
конных—104, борон пружинных—18, культиваторов—  
24, окучников—20, веялок—33, сортировок—6, трие-  
ров—2, сеялок всяких—50, одна сеялка тракторная,  
сенокосилок—6, самосбросок—32, соломорезок—9, лу-  
щенников—2.

IV. Скот рабочий:

лошадей — породистых и обыкновенных крестьян-  
ских—312, жеребят—58.

Скот рогатый и прочий:

коров—77, нетелей—6, телят—95, быков—3, свинома-  
ток—124, хряков—4, поросят—17, овец—302, баранов—  
4, кур—500.



Участие в хлебозаготовках Сталинского гиганта таково: на 10 ноября 1930 года ход сдачи продуктов государству показывал перевыполнение плана по главным видам заготовок (рожь, овес) и выполнение по другим.

КОНТРОЛЬНЫЕ ЦИФРЫ СТАЛИНСКОГО КОЛХОЗА:

Причитается сдать

На 10 ноября сдано:

Ржи 54 центнера . . . . .	55 центнеров.
Овса 2953 центнера . . . . .	Сдано 680 ц. плюс выдано 2 сохр. расписки на 2263 центн.
Бобовых культур 25 центнеров . . . . .	
Льносемени 125,69 кило . . . . .	Выданы сохр. расп. на 46,5
Коноплесемени 215 кило . . . . .	
Льноволокна 152,52 кило . . . . .	
Пеньки 215 кило . . . . .	35,5
Картофеля 3700 центнеров . . . . .	83,359 кило

Примечание: Отсутствие цифр в графе по заготовкам конопляного семени, льноволокна и других культур объясняется затянувшимися работами по их обмолоту.



# С о д е р ж а н и е.

Предисловие . . . . .	
Введение . . . . .	
I. Село Починки . . . . .	
II. Курносые, брабансоны, клейдесдали . . . . .	
III. На полях . . . . .	
IV. Ищу „корень“ . . . . .	
V. Вовсе разные люди . . . . .	
VI. Кто просчитался и кто нет . . . . .	
VII. Про что говорила беднота . . . . .	
VIII. Почин Починок . . . . .	
Приложения . . . . .	





ПОН ДЕ

